



Владимир  
Герасимов

✦

**Авдеевы  
тропы**

**RUSTORY**  
рустория

Рустория

Владимир Герасимов

**Авдеевы тропы**

Издательство "Руда"

2021

УДК 82.3 + 94 (47)  
ББК 84(2Рос=Рус)-44

**Герасимов В. М.**

Авдеевы тропы / В. М. Герасимов — Издательство "Руда",  
2021 — (Рустория)

ISBN 978-5-9073551-7-0

Роман современного владимирского писателя Владимира Герасимова (р. 1953), повествующий о борьбе русского народа против монгольских завоевателей в середине XIII века, полон захватывающих приключений. Вместе с тем он основан на исторической правде и показывает позицию и реальную роль в событиях того времени князя Александра Невского, чьё 800-летие отмечается в 2021 году. Для широкого круга читателей.

УДК 82.3 + 94 (47)  
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-9073551-7-0

© Герасимов В. М., 2021  
© Издательство "Руда", 2021

## Содержание

Тропы познания	6
Книга 1	10
Часть 1	10
Марфа	10
Настёнка	13
Княгиня Агафья	18
Владимир Юрьевич	23
Харитинья	30
Воевода Пётр Ослядюкович	33
Авдей	36
Часть 2	39
Овдотья	39
Князь Юрий Всеволодович	45
Иванка	53
Корнюха	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

**Владимир Герасимов**

**Авдеевы тропы**

***Исторический роман***

*Посвящается брату Сергею и моей супруге Татьяне с  
благодарностью*

***Автор***

## Тропы познания

### Вступительная статья

В романе Владимира Герасимова «Авдеевы тропы» много действующих лиц. Большинство из них вымышленные. О них поговорим позднее. Однако больше трёх десятков героев – реальные исторические деятели. И самый известный из них – князь Александр Ярославич Невский, занимающий особое место среди правителей нашей страны. Во все времена, при любых властях он неизменно оставался официально признанным примером мужества, мудрости, любви к Отечеству. При Рюриковичах его канонизировала православная церковь как чудотворца. В эпоху правления Романовых он почитался как никто другой из предыдущей династии. При большевистском режиме его восхваляли с киноэкрана и изобразили на боевом ордене, вручавшемся лучшим офицерам. В наши дни он победил во всенародном конкурсе «Имя России», опередив самого Пушкина, а жители Москвы в недавнем опросе в большинстве своём пожелали видеть именно его скульптурное воплощение в центре Лубянской площади. В мае 2021 года восьмисотлетие святого благоверного князя Александра Невского отмечается у нас по специальному президентскому указу. Книга, которую вы сейчас открыли, один из самых заметных подарков к этому празднику.

На вечный вопрос – можно ли изучать историю по художественному произведению – в случае с ней однозначно ответить нельзя.

Да, потому что автор не просто описывает судьбоносные для наших предков события, но и объясняет причины поступков тех, кто их вершил. История предстаёт тем самым не сухим перечнем дат и фактов, нужных для сдачи ЕГЭ, а чередой трудных, зачастую противоречивых решений вождей своих народов, принимавшихся подчас в экстремальных обстоятельствах. Почему делался тот или иной выбор, нельзя понять, не погрузившись во внутренний мир человека. Литература же раскрывает его с большей силой и убедительностью, нежели наука, и роман позволяет окунуться в него глубже, чем самый лучший учебник.

Нет, потому что автору иногда приходится грешить против истины для замысловатости сюжетных поворотов, закручивания захватывающей интриги. Недаром в русском языке синонимом почтительного слова *писатель* всегда было немного игривое *сочинитель*. Ведь без сочинительства, такой лакомой приправы, блюдо литературной кухни всегда будет пресным и неаппетитным. Вот и здесь мы должны сразу предупредить: чудесное спасение Юрия Всеволодовича в битве на Сити и смерть его позднее от ран – явная выдумка автора для последующих сюжетных ходов, поскольку на самом деле князь пал смертью храбрых на поле боя. Не было в действительности и столь важного для канвы романа эпизода похищения юного княжича Андрея, ибо родился он позже описываемой поездки к хану Батыю. Однако на помощь приходит спасительное понятие *правдоподобие*, часто используемое в беллетристике. Правдоподобие – это не сама правда, а похожесть на неё, то, что вполне могло бы быть. И действительно, родился Андрей немного раньше, такое приключение вовсе не исключалось бы.

Однако абсолютной правдой, на которую нельзя не обратить внимания юного читателя, является возраст героев. Князю Александру Ярославичу, уже знаменитому победами в битве со шведами и на льду Чудского озера, в год той самой поездки в Орду исполнилось всего-навсего двадцать шесть лет. А стяжал первую славу и прозвище Невский он и вовсе в девятнадцать, говоря современным языком, тинейджером. Иными словами, представителем одной возрастной группы с теми из вас, кому уже исполнилось тринадцать. Когда же ему становится двадцать пять, погибает его отец, великий князь владимирский Ярослав Всеволодович, на плечи сыновей которого ложится тяжкое бремя власти. Тяжкое вдвойне, поскольку Русь повержена жестоким и непобедимым врагом, лежит в руинах, истекает кровью, а с неё ещё требуют непо-

мерную дань. Последний из старшего поколения, князь Святослав Всеволодович, уже немощен и безволен, он легко и нагло свергнут с престола собственным сыновцем, с ним даже не хотят разговаривать в Орде: требуют явиться на смотрины его молодым племянникам. И здесь проявляется зрелость и мудрость Александра Невского. Будучи глубоко и истинно верующим, он воспринимает беды, обрушившиеся на отечество, как наказание за братоубийственные междоусобицы и видит в них проявление божественной воли. Раз так, то надо смириться пред тем, чьими руками высшая сила осуществляет возмездие. В этом князь искренне убеждён, и это он смело высказывает самому Батю, чем вызывает у того определённую симпатию.

Однако такие взгляды разделяют далеко не все в окружении Александра. Не понимают его брат Андрей, старший сын Василий, да не всегда и любящая жена Александра. Что уж говорить о рядовых дружинниках, простых людях! Впрочем, поначалу и сам он проявляет горячность и нетерпимость к врагу. «Как дядя, как братовья, лучше сгинем, чем поклонимся!» – заявляет Александр Невский своему отцу в первой книге романа. Но став ответственным за судьбу страны, он начинает мыслить по-иному: «До поездки в Орду я ещё тоже колебался. Теперь сомнений нет. Сила у монголов неисчислимая. Биться с ними сейчас всё равно что идти навстречу буре, думая утихомирить её». Это тоже из диалога отца с сыном, только теперь в роли первого выступает сам Александр Ярославич, вразумляя своего колеблющегося первенца Василия.

Основной конфликт в романе – спор между двумя братьями, двумя великими князьями Александром и Андреем. Первый, объективно оценивая силы сторон, призывает отказаться от всякой мысли о вооружённом сопротивлении и платить захватчикам десятину, пока они не требуют большего. Второй не хочет смириться даже в малом, постоянно рвётся в бой и мечтает дать отпор врагу объединёнными силами русских при поддержке иноземцев-католиков. Правда, собрать такое войско не удаётся, и он бежит за границу, не в силах противостоять нашествию ханского воеводы Неврюя.

Те, кто уже прочитал «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького, наверняка обратили внимание на такой эпизод:

– Итак, Ваня, что же сделал Александр Невский? – спрашивал он, остановясь у двери и одёргивая рубаху. Дронов быстро и чётко отвечал:

– Святой благоверный князь Александр Невский призвал татар и с их помощью начал бить русских...

– Подожди, – что такое? Откуда это? – удивился учитель, шевеля мохнатыми бровями и смешно открыв рот.

– Вы сказали.

– Я? Когда?

– В четверг...

Учитель помолчал, приглаживая волосы ладонями, затем, шагая к столу, сказал строго:

– Это не нужно помнить.

У него была привычка беседовать с самим собою вслух. Нередко, рассказывая историю, он задумывался на минуту, на две, а помолчав, начинал говорить очень тихо и непонятно. В такие минуты Дронов толкал Клима ногою и, подмигивая на учителя левым глазом, более беспокойным, чем правый, усмехался кривенькой усмешкой; губы Дронова были рыбы, тупые, жёсткие, как хрящи. После урока Клим спрашивал:

– Ты зачем толкался?

– Хи, хи, – захлёбывался Дронов. – Наврал он на Невского, – святой с татарами дружить не станет, шалишь! Оттого и помнить не велел, что наврал. Хорош учитель: учит, а помнить не велит.

В образе учителя Томилина Горький сумел отразить главное противоречие отечественной историографии: попытку обвинить Александра Невского в привлечении Орды для утвер-

ждения собственной власти, с одной стороны, и энергичное отрицание подобного коллаборационизма, с другой. Эта полемика продолжается до сих пор, и если до вас дойдут её отголоски, помните: автор «Авдеевых троп» не просто защищает святого благоверного князя, но и даёт убедительное, психологически достоверное объяснение его позиции. Это как раз пример того, что художественное произведение может служить своеобразной тропой познания исторической правды.

Однако главная ценность романа заключается в показе событий глазами не только князей, ханов и воевод, но и самых простых людей. Именно они становятся главными героями. Через их судьбы постигаем мы происходящее. Их кровь льётся рекой, их стоны звучат с каждой страницы, их слезами окропляются как горести, так и немногие радости. И они не безмолвные жертвы трагических обстоятельств, а активно сопротивляющиеся разным невзгодам борцы. Утратившая было смысл жизни старуха Овдотьа держит в страхе самого Батыя. Помогает ей в этом маленькая девочка Настёна. Маленький Корней рубится с врагом наравне со взрослыми. Потерявший в бою шуйцу Иванка лихо сражается оставшейся рукой и жертвует собой для спасения предводителя войска. Умирающий безымянный дружинник находит силы, чтобы выполнить предсмертное поручение великой княгини. И это не единственные примеры самоотверженности защитников русской земли. Есть среди них и негодяи. Например, трусливый и безответственный Авдотька, бросающий раненого Корнея на произвол судьбы. Или совершенно отвратный карьерист Духмян, в образе которого автор убедительно показывает логичный и неизбежный путь от мелкой подлости до крупного предательства.

Другой существенной тропой познания хотелось бы назвать описание быта. Оно в романе богато и разнообразно: мы попадаем и в крестьянские избы, и в жилище городских поселян, и в палаты воевод, и в княжеские дворцы, и в монгольские юрты, и в ханские шатры. Без таких картин изучение истории также будет неполным, а художественный текст делает их красочней и объёмней.

Несколько слов об авторе. Вся жизнь Владимира Михайловича Герасимова неразрывно связана с теми местами, где происходят описываемые события. Родился он в 1953 году во Владимире, а затем переехал в соседний город Вязники, вобравший в себя старинный Ярополч. В 1982 году окончил в Москве Литературный институт им. А. М. Горького. Печатал стихи и прозу в московских и региональных издательствах. Лауреат международных и всероссийских писательских конкурсов. В своих произведениях широко использует народный язык и особенности владимирского говора. Поэтому не удивляйтесь, что в речи героев проскальзывают словечки, отличающиеся от привычного звучания. Некоторые из них сейчас считаются безграмотными. Но помните: они произносились без малого восемь веков назад, когда не существовало никаких литературных норм. Не только единых для всего языка, но даже для местных диалектов. Применение такой лексики в разумных объёмах необходимо для воссоздания колорита той эпохи. Этой же цели служит отказ от использования привычных нам сегодня понятий, выраженных более поздними заимствованиями. Но это не делает язык беднее. Иногда даже наоборот: например, вы не встретите на страницах романа слово *комната*, зато познакомитесь с древнерусскими названиями *ложенища*, *горница*, *светлица*, *грядница*, относящимися к различным помещениям в домах и дворцах Древней Руси.

Слова, не понятные из контекста, разъясняются в сносках. Что касается персоналий, то сведения об исторических личностях вы найдёте в специальном приложении. Для восприятия целостной картины родственных связей действующих и упоминающихся в романе представителей великокняжеского рода, идущего от Ярослава Мудрого, отдельно даётся генеалогическая схема.

Желаю вам получить удовольствие от чтения прекрасной книги, передающей дыхание далёкой эпохи и насыщенной захватывающими приключениями. И обязательно дайте почитать её своим родителям, бабушкам и дедушкам. Им не повезло: когда они росли, этого заме-



чательного романа ещё просто не было. Да и вообще нынешнее издание фактически первое в доработанном автором и редактором виде.

*А. Н. Красильников, первый секретарь правления  
Профессионального союза писателей России*

# Книга 1

## Часть 1

### Марфа

– Мамонька, а что тятя долго не вертается? Его Морозко заберёт.

Марфа уже жалела, что рассказала вчера дочке Настёнке про Морозку, который забирал к себе заблудившихся путников. Но вчера эта проклятая метель только начиналась, и они ждали Авдея. Она то и дело выбегала из избы, накинув зипун, и вглядывалась в темнеющий вдаль лес, через который идёт дорога. Ветер уже начинал подхватывать снежную пыльцу и свивать её в плотные бурунчики, а то вдруг порывами откидывать за крыши туда, к замёрзшей Клязьме. Марфа выбегала босиком, холод обжигал её ноги и не давал долго стоять на воле. Казалось, Авдей вот-вот покажется вдаль сначала тёмной точкой, потом всё увеличиваясь, и, наконец, она узнает его и кинется навстречу. Но неотрывно смотреть на белую снежную равнину, которая так притягивала к себе взор, было нельзя – ослепнешь. Да и Настёнка рвалась из избы вслед за матерью. Вот Марфа и пригрозила дочке: налетит Морозко, унесёт к себе в лес.

Никакое дело в голову не шло. Обыкновенно разжигать поутру печь и задвигать туда ухватом горшки ей было по душе. Печь дышала жаром, и рождались ниоткуда манящие запахи гороховой каши и приторной запаренной репы. А пока ещё в избе не развиднеется, от пляшущего огня по стенам прыгают причудливые тени. Теперь любой звук раздражает Марфу, она то и дело прислушивается – сейчас стукнет дверь, и вместе с клубами пара в избу ввалится Авдей, весь в снегу, с заиндеветыми усами, бросит на пол твёрдые тушки и, отирая ладонью лицо, пробросит:

– Ох, и умаялся я.

Тяжело опустится на лавку, прямо одетый, и прикроет устало глаза. А она, как всегда, заботливо начнёт его раздевать. Снимет с ног лыжи, лапти...

Но вот погасли четыре вечерние зари, а Авдея всё нет и нет. Вся извелась Марфа. И метель три ночи бушует. Ну чего ему в лесу так долго делать? Не так уж их много в эту зиму. Далеко на этот раз Авдей не собирался идти. Не иначе беда приключилась: тати окайные подстерегли или метель закружила.

Настёнка угомонилась, свернулась калачиком на шобоньях<sup>1</sup>, прижала к груди кошку. Глаза красные, на щеках ещё слезы не высохли, сопит. А к Марфе сон не идёт, хотя последние ночи спала урывками. А теперь сумерки не убаюкивают, а страшат. Какую уж лучинку запалила, и счёта нет. В темноте сидеть боязно. На сердце всё тревожней и тревожней. Показалось, будто кто-то торкается в дверь. Накинула на себя зипун, ноги в лаптёшки – и в сени. А дёрнула дверь и задохнулась сразу от снежной круговерти. Снег и в глаза и в рот. Охти, страсть какая! И вдруг... сердце оборвалось. Споткнулась обо что-то большое и твёрдое. Вроде сугроб и не сугроб. Упала на колени и руками снег расчистила. Человек. Лежит – скукожился. Нешто Авдей? Откуда и сила взялась! Затащила Марфа его сначала в сени, а потом и в избу. И уж тут поняла, что обозналась. Чужой. Да и дышит ли, бедняга, не поймёшь. Не стала будить Марфа Настёнку, испугается только. Надо бежать за Овдотьей-ведуньей. Недалеко Овдотьина хибарка. Всякие травы-снадобья у ней есть. Коли жив прохожий, уж она его отпоит. А коли

---

<sup>1</sup> Шобонья – тряпье, обноски.

отлетела его душенька – обмоет. Насилушку добралась Марфа до Овдотьиной избы – уж так метель метёт, на ногах не устоять.

Раздели Марфа с Овдотьей несчастного, прижала ведунья ухо к его волосатой груди, услышала: тукает ещё сердце. Стала натирать его чем-то вонючим, у Марфы аж в горле запершило. На лицо и на тело бедняги смотреть без жалости нельзя – весь в шрамах рубленых да ожогах. Застонал от натирания, шевельнулся.

– Вот и слава богу, жив сердешный, – отозвалась Овдотья, сама-то тяжело дыша. Нама-ялась, пока в чувство прохожего приводила. Настёнка уж проснулась, испуганно смотрит на всех.

– Мамонька, не тать ли это?

– Тать не тать, а живая душа, – ворчливо сказала Овдотья, разжав человеку зубы и вливая в рот какое-то питьё, – да у него теперча ни в ногах, ни в руках мочи нет.

А у Марфы своё на душе:

– Авдюша мой тоже, поди, лежит где-нибудь под снегом.

Услышав это, Настёнка тоненько завывала, растирая глаза руками.

Овдотья сердито прикрикнула на обеих:

– Не гневите Бога! Полно заранее-то отпевать.

А прохожий от питья Овдотьиного уж и глаза открыл. Но мутны глаза, невидящи. А сам и вправду на разбойника похож: и от шрамов, и от бороды чёрной всклокоченной. А вот волосы на голове белые, как снег. Чудно. Одежка и обужка поношенные, рваные. Мудрено ли тут замерзнуть!

– Ты, Овдотья, пока не уходи, – умоляюще посмотрела Марфа на старуху, – уж больно он слаб, в чём только душа держится, не помер бы.

– Всяко может быть, – вздохнула Овдотья, поднялась и села на лавку. – Кажись, особенно не обморозился, только ослабел, да вот раны больно страшны.

– Да уж... – Марфа поёжилась.

Долго они сидели молча. Овдотья дремала, опустив голову на грудь. Про Настёнку нечего было и говорить: спала без задних ног. А Марфа меняла сгоравшие лучинки да прислушивалась к вою метели за стеной, замирая от ожидания: вот-вот стукнет Авдей. Успокаивала себя, что ничего страшного с ним не случилось. Но трудно совладать с тревогой, которая обливала сердце такой тоской, что хотелось в голос зарыдать, и тоска эта всё чаще и чаще сжимала сердце. Вдруг больной пошевелился, видно пришёл в себя, и прохрипел еле внятно: «Пи-и-ить». Овдотья встрепенулась, опустилась на колени и стала поить его каким-то своим питьём. Он жадно глотал, захлёбываясь и хрипя. И грудь у него часто вздымалась и опускалась. Напившись, он снова закрыл глаза, но ненадолго. Теперь уже смотрел осознанно, переводя взгляд то на одну, то на другую женщину. И вдруг из его глаз в бороду покатались слезинки. Это до того поразило Марфу, что она, не помня себя, судорожно всхлипнула. И если до этого момента она побаивалась незнакомца, то после этих слёз он стал каким-то близким ей. Она засуетилась, побежала к печи, загремела заслонкой. Ведь он, поди, не евши сколько дней. Вынула из тёплого горшка сладкую пареную моркошку и вопросительно посмотрела на Овдотью.

– Обожди маленько, – ответила соседка. – Дух у него ещё не укрепился.

Марфа с трепетом ждала, когда прохожий совсем придёт в сознание. И этот миг наступил. Овдотья выяснила, что звали его Петря, что шёл он во Владимир да заблудился и попал в метель. Много говорить Петря не мог, быстро уставал.

– Чей ты, Петря? Далече ли дом твой? – тихонько полюбопытствовала Марфа.

– Рязанский я, добрая хозяйшшка, – отвечал он слабым голосом.

Вздрогнула Марфа, и словно заledenели её глаза. Отчуждённо отпрянула она от Петри. А тот, не заметив её отчуждённости, вдруг разговорился:

– Беда у нас на рязанской земле. Злой враг пришёл, неведомо отколь. Города жжёт, деревни разоряет. Спасу от него нет. Дикой, шерстью покрытый...

Затих Петря на миг, и опять слеза укатилась по его щекам в бороду:

– Были у меня робятишки и жёнка. Нету теперь. Сгубили, пожгли. Да и меня самого посекли, помучили.

Он снова, утомлённый, закрыл глаза. Но не узнать было Марфу. Дрожа дрожала она и не в силах была успокоиться. Горькие, глубоко затаённые слова бросила она в лицо лежащему Петре:

– А вы, рязанцы, лучше, что ль? Проклятые! Отлились вам мои слёзки!

Недоумённо приподнял дрожащую голову больной и часто-часто заморгал белёсыми ресницами. Вся как-то съжившись, сидела на лавке Овдотья, опустив руки. Она знала Марфину судьбу и не остановила её проклятье. Отвернувшись в тёмный угол и сидела, не шелохнувшись, как будто нашло на неё какое-то оцепенение. Не слышала, как ушла Овдотья, как привела соседей-мужиков и как унесли они Петрю в Овдотьюину избу.

Тихо было вокруг. Уж и лучинка догорела. Только слышалось сонное дыхание Настёнки. А на Марфу навалилось то страшное, от которого она всегда старалась забыться, но которое всегда кололо ей сердце, а уж теперь сжало его в клещи.

Её небольшая деревенька, всего в дюжину домов, стояла на крутом клязьминском берегу. Владимир был недалеко. Летом в ведро виднелись золотыми точечками купола Успения. Тут Клязьма делала изгиб, и казалось, что Владимир где-то на другом берегу. За лесами да за полями стоял он величавый и неприступный. Любила она, когда ещё были живы тятенька и маменька, забираться в кусты на крутизне и смотреть оттуда на быстрый бег реки, а уж когда появлялись на ней лодии, это для Марфы был праздник. Лодии всегда были разукрашены, и плыли на них люди в красивых одеждах. Маменька ругала Марфу за хождение к Клязьме:

– Мала ходить туда, недолго ли сорваться с обрыва! Убьёшься и утопнешь.

И она посылала за Марфой братца Иванку. Тот находил её, присаживался рядом, тоже не в силах оторвать глаз от купеческих лодий. Сидели они вот так рядком, плечо к плечу и говорили о тех, кто внизу правил путь к Владимиру. Поглядывала Марфа то вниз на реку, то на братца – широкоплечего белоглазого мальчугана, всегда улыбчивого и весёлого. Только и помнила Марфа от того времени вот такого Иванку. Да и что могла ещё помнить? Слишком маленькой была. А как насматривались они вдоволь, брал Иванка сестру на закорки и быстро бежал прямо по лугу, подпрыгивая и смеясь. Остро пахло цветущими травами, солнце било прямо в глаза. Было весело-весело, и Марфа визжала от этой безудержной радости. Вторил ей Иванка... Но помнила она и другое. Белое от страха лицо матери, дрожащие её руки. Шёпот, переходящий от избы к избе: «Рязанцы идут!» Не смогли они приступом взять Владимира. Теперь жгут всё на своём пути. Мужики деревенские, вооружившись кто чем, ушли за деревню поджидать лихих гостей. А бабы и ребятишки забились по избам. Может, их-то не тронут? Все же свои, русские, не басурманы какие-нибудь.

Ворвались рязанцы в деревню, обозлённые неудачей со взятием Владимира, да, видимо, и мужики встретили их неласково. Пылали избы, визжали ребятишки. А злодеи пограбили вдоволь, а людей кого поубивали на месте, кого скрутили, в плен увели. Немного времени прошло, а от деревни одни головешки остались, да выползали на пепелище те, кто спаслись. Среди них маленькая Марфа, Овдотья да ещё несколько человек. Плакала, кричала Марфа, звала и папеньку с маменькой, и братца. Да что толку: как будто их и не бывало никогда. То ли в плен уведены, то ли сгорели. Сколько тел обгорелых, разве узнать. И начались для Марфы мытарства. Спасибо Овдотье, не оставила в беде. С того времени не могла Марфа видеть рязанцев, оцепенение на неё находило при одном их упоминании.

## Настёнка

Не разразилась беда над Марфой и Настёнкой: вернулся Авдей живой. В первое мгновение заметалась Марфа по избе: не то на груди у мужа выплакать остатки слёз, не то перед иконами на коленях благодарить Бога за милость, не то на стол еду собирать.

И ведь надо же такому случиться с Авдеем! Упало на него в лесу подгнившее дерево, ногу повредило. А метель уже собиралась. Дополз еле-еле до полузасыпанной дороги, уж как – и сам не помнил. Подобрали его люди добрые да в другую сторону повезли, во Владимир. Оклемался там, поскорее вернулся, а нога всё ещё не совсем зажила. Теперь Марфе надо поворачиваться, пока мужик не встанет на ноги. Съестное-то на исходе. И собралась она с шабрами<sup>2</sup> во Владимир – продать шкурки беличьи. Дело-то не скорое. Но не боялась за хозяйство. Авдей у неё на всё сручный: и на мужичьи, и на бабьи дела. Да и дел особых не было: печь протопить да обед сварить. Не потому ей не хотелось уезжать. Стосковалась она по мужу. Несколько дней ожиданий и ночных переживаний показались за целый год. Лежали они, обнявшись, всю ночь, и не могла Марфа расцепить руки и обливала слезами бородатое лицо Авдея, а у того голос подрагивал:

– Да тут я, тут.

А она всё не верила. Нащупывала губами в темноте его волосы, лоб, глаза, щёки и встречала его жаркие губы. Неужто на сей раз судьба её помиловала?

Но жизнь шла своим чередом. Сквозь тусклые окошки пробивалось утро. Проскрипели у ворот соседские сани и повезли Марфу с мешком шкурок в стольный град. Помахал вслед Авдей и, вздохнув, поковылял в избу. Тяжело было ему ходить, но нельзя поддаваться немочи. Настёнка ещё не встала, не вылезла из-под жаркой шубы. Он смотрел на её раскрасневшееся во сне личико и улыбался... Как она на мать похожа! И статная будет, и красивая, и полюбится какому-нибудь доброму молодцу. Не так уж много времени прошло с тех пор, как и сам Авдей забрёл в эту прибрежную деревушку, и околдовала его красавица Марфа.

Родной город Авдея Ярополч на таком же высоком клязьминском берегу. Да не задалась жизнь его на родине. Отец с матерью рано ушли с белого света. Мать и совсем не видел, померла родами. А тятя на его мальчишеских глазах утонул в реке. Нырнул и не вынырнул, и тела его не нашли. Старухи, крестясь, говорили, что его, верно, русалки в подводное царство утащили. А шёл тогда Авдею одиннадцатый год. Ревел он по тятеньке целую неделю без продыху. Сидел на берегу и ждал, что отдадут русалки отца. На колени вставал, умолял их, они даже не показались – только в камышах плескалось что-то порой: то ли русалки, то ли крупная рыба. И чуда никакого не свершилось. Похудел Авдюша от горя, осунулся. Взял его к себе дядя, отцов брат Тимофей. Первое время жалел, всё по голове гладил, лучшие куски подсовывал, а потом тяготиться стал. Да и жена его почему-то парнишку невзлюбила, всё попрекала. А у Авдюши от этих попреков сердце инда в комок сжималось. И ведь работал он – пас свиней. Но как-то не устерёг, утащил волчище поросёнка. Тут дядя Тимофей аж рассвирепел, бил куда не попадая, жалко ему было поросёнка, да и жена подзуживала. С этого времени и пошло: чуть что – толчки да щелчки. Убегал Авдюша на берег вниз под крепостные стены в густые заросли и криком кричал – тятю звал. А как пятнадцатый годок исполнился, вообще решил сбежать от дяди Тимофея. Много ходило по дорогам калик перехожих. Куда шли, сами не знали. Заросшие, пропылённые, еле ноги передвигающие, милостыню по деревням собирали. Вот и Авдей к ним прибился. Они его не прогнали. А он старался им помогать: ноги-то молодые, быстрые – где водицы принести, где что. А они, когда на отдых располагались, много всяких баек дивных рассказывали да сказок: и про Илью Муромца, и про Индрик-зверя из индейской земли. Целое

---

<sup>2</sup> Шабы – соседи.

лето ходил он с каликами. Много всего вместе пережили: и голодали, и холодали, и от волков отбивались. Да и сам Авдей повзрослел, вытянулся, в руках силу почувствовал. Поднаеоло ему без толку ходить от деревни в деревню. Чувствовал на себе насмешливые взгляды: вон какой справный парень милостыню просит. В это время и забрели они в Марфину деревню. Как увидел он девушку, её большие кроткие глаза, как услышал её звонкий голосок, так сердце и захолонуло: судьба Авдеева.

Ушли калики в этот раз без него, а он нанялся в пастухи, коров пасти. Ни дня теперь не мог прожить без того чтобы не увидеть Марфу в простеньком сарафане с длинной пушистой косой. А Марфа тоже заприметила чудного паренька в заплатанной одежде, невесть откуда появившегося в деревне. Он порой неотрывно смотрел на неё, и во взгляде этом и восхищение было, и нежность, и ещё что-то такое необъяснимое. Она теперь каждый вечер, когда пригонял пастух скотину, выходила встречать корову ещё за деревню. Заметив благодарность в Авдеевом взгляде, смущалась, краснела. Потом вышло как-то само собой, что ходила встречать уже не корову, а его, ненаглядного. Коровы сами собой разбредались по дворам, а они вдвоём ушли на клязьминский берег, и он рассказывал ей про свои странствия и приключения. Для большей забавы на ходу придумывал что-нибудь такое, от чего Марфа в ужасе закрывала глаза и простодушно охала. Овдотья, заменившая Марфе мамушку, говорила бабам:

– Сошлись бы сиротинки, как гоже было бы!

А их сердца и впрямь тянулись друг к другу, и пришёл он, такой миг, когда малая разлука стала в тягость, когда захотелось быть близкими не только перед собой, но и перед людьми.

Потом потихоньку отстроили избёнку и зажили, как все. Мужики в деревне были большими охотниками да рыбаками: и семьи кормились, и во Владимир возили шкурки, лосятину да рыбу. Авдей тоже пристрастился к охоте. Научился силки ставить и ловушки всякие выделывать. С рогатиной и на медведя хаживал – силушкой его бог не обидел. Вот только рыболовство было ему не по душе: рана его страшила, не забывалось то мальчишеское отчаянье и горе. Мерцающие блики на воде и плеск волн снова поднимали из глубин памяти то, что вроде бы устоялось, успокоилось и не так сильно щемило сердце. Он даже не мог есть рыбу. Рыбьи хвосты вызывали у него отвращение: ведь говорят, что у русалок вместо ног такие вот хвосты.

Авдей краем глаза увидел, как Настёнка тихохонько выскользнула из шубы и на цыпочках подкралась к нему. Он притворился, что не замечает этого, а она с торжествующим визгом подпрыгнула к нему на спину и ухватила ручонками за шею. Он согнулся, перехватил её, перевернул и схватил в охапку. Девочка хохотала, а он щекотал её усами и тоже улыбался. Восьмой годок дочке пошёл, но заботливая, хлопотливая, как мать. Когда родилась Настёнка, Авдей не знал, как Бога благодарить за счастье такое. А ведь и родилась-то она в страшную пору. Приключилось в тот год диво невиданное – землетрясение во Владимире и окрест. В церквах колокола сами собой звонили, а по стенам колоколен вились трещины, а иные разрушались... Блаженные и юродивые под взвизги баб выкрикивали, что-де конец света пришёл. Вот в этот-то сумасшедший день и разрешилась Марфа дочкой. Бегал Авдей от дома к дому со своей нуждой, но никто на него и внимания не обратил. Каждому было до себя. Стояли на коленях у икон, замаливали грехи свои и думали, что вот-вот земля провалится в тартарары. Только старая Овдотья выручила: ведь она Марфе была как мать. И роды принимала, и выходила роженицу с младенцем. Уходят невзгоды и за далью лет утрачивают горький привкус.

– Тятенька, – обнимает Настёнка тёплыми ручонками его шею, – Расскажи про медвежаток!

Частенько Авдей рассказывает дочке случай, что приключился с ним на охоте прошлым летом. Ей не надоедает этот рассказ. Конечно, каждый раз Авдей припоминает что-то новое:

– Может, дочурка, и живой я ноне остался, что медвежаток тогда пожалел. Добро, оно никогда без награды не остаётся, а зло – без отмщения. Уж как наяву сейчас вижу. Вышел на

полян, только успел спрятаться за кустом... Развалилась медведиха на солнышке. Брюхо своё подставила теплу, глаза зажмурила. Прямо бей копьём наверняка. Но пудовым стало копьё в руке, и мочи нет с места сойти. Возьмётся у медведицына брюха два сосунка. Крохотульки, ну прям-таки с кошку твою. Насосались, видно, молока. Довольные, урчат, играют, друг друга лапами загребают, бодаются, кувыркаются. И медведиха сомлела, ничего не видит и не слышит. Совсем, видать, непуганая. А мне и медвежаток жалко, и бес подзузыкивает: давай, мол, бей, верное дело. Но Бог не дал злу свершиться. Ну, коли порешил бы я медведиху, то и медвежатки сгибли бы. Той же ногой отступил я.

– А коли почуяла бы тебя медведиха? – спросила, затаив дыхание, Настёнка.

– Могла бы и задрать. Не любит зверь прохожих у берлоги.

– А как бы она тебя задрала? – лукаво блеснула дочка глазёнками. Опять ей, непоседе, поиграть хочется.

– А вот эдак! – Авдей притворно зарычал, насупил брови и боднул Настёнку. Та опять захохотала.

В это время из внезапно отворившейся двери ворвались в избу клубы белого пара, и на пороге появился человек в богатой шубе, в тёплых сапожках. За ним вошли двое воинов с мечами. Человек в шубе, прищурясь, оглядел избу и, брезгливо скривив губы, спросил:

– Кто таков?

– Охотник... – растерявшись от его напора, ответил Авдей, а когда опомнился, проворчал:

– Сами-то кто, как тати врываетесь?

Не любил он грубых и наглых богачей. Всегда они чванятся своим превосходством и всем чем можно стараются подчеркнуть его. Много таких повидал во Владимире, когда продавал шкурки. Всегда с каким-то презрением осматривают они товар, морщась и хмурясь. Вот и сейчас человек в шубе брезгливо осмотрел избу, даже ощупал пальцем бревенчатые чёрные стены, указал на испуганную Настёнку:

– Схорони дитяще за печь, и пусть не выходит. Князь Всеволод к тебе пожалует.

Повернувшись, приказал воинам:

– Никого не впускайте.

И уже больше не обращая внимания на совсем сбитого с толку Авдея, вышел, опять впустив клубы пара в избу. Воины сложили у порога оружие, скинули верхнюю одежду и, покрывтая, потянулись к печи:

– Ох, и студёно на воле, околеть можно.

Авдей вынул из печи горшок со щами:

– Похлебайте, коли князь не скоро.

Воины оживились:

– Благодарствуем. Мы дружину перегнали, чтобы всё приготовить для князя. На еду хватит времени.

– Издалека ли путь держали? – любопытствовал Авдей.

Потемнели лица у воинов, погасли глаза.

– Горькую весть везём в Володимир. Разбита Всеволодова дружина под Коломной. Сами еле живу остались. По пятам поганый гонится.

Как-то во Владимире слышал Авдей о тьме вражеской бесчисленной, что двигается на Русь, но раньше думал об этом, как о чём-то далёком, а вот после этих слов защемило сердце. Жизнь-то ломается в одночасье. Уж коли князь Всеволод с дружиной бежит, хорошего не жди.

– Что же за вражина такая? – упавшим голосом спросил Авдей у воинов и вдруг застыл от удивления. Один из них, тот, чьё лицо было страшно от шрамов и рубцов, во все глаза смотрел на Настёнку. Он приподнялся на месте, лицо его побелело, а дрожащие губы шептали:

– Марфинька... Ты ли?

Потом он обхватил седую голову руками, тяжело сел на лавку и зарыдал. Больное тело ходило ходуном. Его товарищ непонимающе смотрел на него и не знал, что делать. А Авдея горячий пот прошиб от неожиданной догадки. Всё как-то сразу ушло в сторону. Лишь одно сбилось в голове. И вот оно вырвалось наружу:

– Уж не Иванка ли ты, паря?

Того как прострелило. В глазах и удивление и надежды.

– Коли Иванка, то я мужем твоей сестры прихожусь. А это дочка наша Настёнка. Больно она на мать похожа, вот и обознался ты. А Марфа-то всё ждёт тебя, верит, что жив, часто вспоминает. Уж была бы, как обрадовалась.

Просветлело лицо у Иванки. И в глазах будто кто-то изнутри огонёк засветил. Встал он, крепко поцеловался с Авдеем. Хотел и Настёнку поцеловать, но та свернулась в комочек, не пошла, боялась она искалеченного Иванкиного лица. Не стал он неволить девочку, улыбнулся только и сел на лавку:

– Ждала, говоришь, сестрёнка. Может, её молитвы и спасли меня. Мудрено было не сгнать. Ведь когда рязанцы увели, мальчонкой был. Пока в силу не вошёл, работал за кусок хлеба в чужих людях. А потом и судьбу свою нашёл, хозяйством обзавёлся, детишки пошли. В Рязани жил, кузнечил. Подумакивал сходить во Владимир, узнать о родителях, о сестрёнке – уж больно тосковал по ним. И тут, как вихрь, проклятые татаре. И жёнку, и дочек, и дом – всё с земли смело, как и не бывало. Озлобился я. Как сожгли поганые Рязань-то, пошёл куда глаза глядят. Под Коломной к Всеволодову войску пристал, чтобы татарьё бить. Но взяли они верх. А уж бились мы насмерть. Князь, как орёл, над дружиной летал. Корзно<sup>3</sup>, как знамя, за ним развевалось. Да и каждый бился не ради славы. Кто в отпущение за погубленные души, а кто в боязни за своих близких. Но поганые, яко саранча, сколько ни бьёшь, а их всё больше и больше...

Товарищ Иванки грустно качал головой.

– Куды ж теперь? – тихо спросил Авдей.

– Останусь в княжеской дружине. Теперча одно дело: меч крепко держать... Да и вам надо подаваться во Владимир. Татарин быстро идёт. А разведчики его давно, поди, шастают по здешним лесам. Приедете, найдите, с Марфой хочу повидаться. От твоей новости у меня в грудях маленько отмякло. Не всё Бог наказывает.

В это время в избу через хлопнувшую дверь ворвались опять клубы пара, а когда они рассеялись, Авдей увидел вместе с прежним человеком в шубе ещё одного, перед которым вскочили Иванка с товарищем и принялись его раздевать. Но тот оттолкнул их и приказал вынуть иконы. Одетым бросился на колени и быстро-быстро стал читать молитвы. Только шапка слетела с его головы, и волосы растрёпанные, длинные, задерживаясь на потном лбу, нависли над глазами. Но он не замечал этого и молился отрешённо, исступлённо.

Князя Всеволода Авдей раньше видел во Владимире, но тогда он был круглолицым, улыбающимся. Ехал на коне впереди, вместе с братом Мстиславом. Тот вообще казался мальчишкой. Как же сдал Всеволод против того бравого князя! Теперь щёки его впали, кожа казалась жёлтой, глаза нездорово блестели, плечи опустились.

Молился он долго, не обращая ни на кого внимания. Казалось, что для него весь мир перестал существовать. Трещали две толстые свечи у походного иконостаса. И хотя на улице был день, через тусклые и маленькие оконца просачивалось немного света, и от свечек на стенах качались огромные тени. Всё это в сочетании с бормотанием князя вселяло в душу тревогу. Так же внезапно, как и начал молитву, князь вскочил с колен и повернулся к двери. Едва ему успели нахлобучить на голову упавшую шапку, он выскочил из избы. Вслед за ним

---

<sup>3</sup> Корзно – плащ.



и остальные, собрав иконы. Иванка успел только поцеловать Настёнку, которая дотоле сидела, прижавшись к отцу. Раньше столько чужого народа в избе она не видела.

- Кто это, тятя? – спросила она шёпотом, испуганно оглядываясь на дверь.
- Который молился – это князь, а который поцеловал тебя – дядюшка твой.
- Князь! – вытаращила глаза Настёнка. – Он в тереме живёт и ест много?

Авдей улыбнулся. Он часто рассказывал дочке о княжеском тереме, а когда возил дичь во Владимир, говорил, что всё это везет князю. И Настёнка всегда удивлялась: разве князь столько съест. Авдей же никак не мог опомниться от чудесного появления Иванки. Много Марфа про него рассказывала. И вот, гляди, – просто чудо. Время для Иванки как бы остановилось, надо же – девочку за Марфу признал. Видно, тосковал по семье, часто вызывал в памяти...

Дверь опять отворилась, опавнув избу холодным паром. Ввалились, тревожно переговариваясь, соседи-мужчины и Овдотья в накинutom зипуне.

– Тётенька Овдотья! Тётенька Овдотья! – кинулась к ней Настёнка. – А у нас князь был, такой красивый, толстой, в шубе, сердитой! У иконы всё бормочет да бормочет, ни на кого не глядит.

– Беда великая идёт на Владимир. Князь Всеволод, разбитый, в столицу вертается, – вторил Авдей.

Овдотья, уткнувшись в зипун, зарыдала, причитая:

– Ой, лишенько! Ой, лишенько!

Мужики ещё беспокойнее загалдели:

– Во Владимир подаваться надо!

– Знамо, во Владимир!

– Тутот-ка враг загубит!

– И впрямь трогаться надоть!

Авдей рассказал Овдотье про Иванку. Та руками всплеснула:

– Господи, радость-то какая! Ванюшка-то мальчонкой был, а нонче, значит... Чего только в жизни не бывает!

Но опять эта новость померкла перед общей тревогой. Лишь Овдотья тихо промолвила:

– Мне-то куды подаваться? Всё одно: помирать пора. Поди, не нужна злодеям старуха? Много я ворогов пережила. Может, и эти не тронут.

Весело скрипит под лыжами снежок. Денёк хотя и не солнечный, но не хмурый, белизна режет глаза. После болезни Авдей давно уже далеко не ходил, потому слабость чувствуется, и порой в стороны поматывает. Но решил он в ближний лесок сходить, силки проверить, а то пропадёт всё, коли во Владимир уедут. А что дальше будет, про то неизвестно. Хотел Настёнку у Овдотьи оставить до вечера: одному сподручнее и быстрее. Да расплакалась она, да так горько, что жалко стало. Согласился взять, чай не далеко. И он с ней не увлечётся, вглубь не убрёт. Нашёл старенькие лыжи, и она, довольная, рядом бежит, воркует, как птичка. Укутана в шубёнку, в материну шаль. Одни глаза только видны. Ну, чисто медвежонок.

За перелеском велел ей стоять у тропки и далеко не сходить, а то-де леший утащит. А сам в потаённые места малость углубился. С дочкой перекликается.

В двух ловушках, как чуял, лиса и заяц попались. Его аж задор разобрал. Тушки уже мёрзлые. Приладил их к поясу. Хотел к третьей ловушке идти. Недалече она. И вдруг какая-то непонятная тревога охватила его. Мёртвая тишина вдруг ударила в уши.

– Настёнка... ка! Ау! – крикнул.

И ничего в ответ не услышал. Та же мёртвая тишина. Как будто оглох неожиданно...

Бежал он, кричал, задыхаясь и хрипя. Только тушки постукивали друг о друга. И этот стук, казалось, гремел по всему лесу, заглушал его голос. А как выскочил к тому месту, где дочка должна была стоять, сердце в клещи сжало. Пусто-пустёхонько. А на снегу, вот они, следы лыж, и сами обломанные валяются. А ещё следы сапог остроносых...

Упал Авдей ничком на тропку, силы его оставили.

## Княгиня Агафья

Княгиня часто просыпалась середь ночи и подолгу лежала с открытыми глазами, не зажигая свечи. Ждала, когда утро станет разгонять сумрак в её княжеской спальне-ложнице. А там, если морозное утро, жди и солнечного лучика. Отчего в последнее время привязалась эта проклятая бессонница? От старости ли, от тревог ли? Того и другого достаточно. Пятый десяток перевалил. Намедни в зеркало глянула – ужаснулась. До сего времени как-то не задумывалась, а тут и кожа в морщинках, и глаза усталые. Хотя нет, впервые ужаснулась этой мысли не по себе, а по князе. И в тот день, когда привели ему монаха-рязанца. Устроил ему тогда Юрий дотошный допрос, пошто он по городу распускает слухи о каких-то непобедимых монголах.

Стояли они друг перед другом: гневный князь, огромный, красивый, с вьющимися, как у юноши, волосами, с подёрнутой сединок бородой. А перед ним – смешно сказать – плюгавый коротышка-горбун в чёрном поясе. Только вот глаза у него были бесстрашные, сверкающие. И, несмотря на его презренный вид, казалось, идёт у них борьба на равных.

– Княже, – полушептал, полухрипел монах, – на что надеешься, отсидеться, что ли, думаешь? Монголы, яко пружи<sup>4</sup>, идут неисчислимы. Они твою крепость и не заметят.

Князь Юрий усмехнулся:

– Вот повисишь, грязный кобель, на дыбе, по-иному будешь молвить!

– Коли бы дыба твоя спасла мир, с молитвою бы пошёл на неё. А так... – монах махнул рукой, – и впервой, что ли, нам, сирым, на дыбе висеть.

– Пошто ты такой дерзкий? – удивился князь. – Аль не хочешь жить спокойно? Пошто дразнишь меня?

– Могуч ты, княже, да не мудр, в этом твоя и погибель, – горько вздохнул монах. – Разве нонче где можно отыскать покой? Сердце кипит от боли – кончается земля русская. Мне-то всё едино, где подыхать: на твоей ли дыбе, под конём ли монгольским – маленький я человечиска. А тебе власть Богом дадена, тебе ни Господь, ни народ не простит, коли Руси разорённой быти!

Вспыхнули глаза князевы недобрым огнём, сломались губы в злой усмешке:

– Учить меня вздумал, ты... – Юрий не мог найти слова, соответствующие его гневу. Кулаки сжал:

– В поруб<sup>5</sup> собаку! В поруб!

И обронил тихо, как будто бы только для монаха:

– Поутру казнить за дерзость и смуту.

Долго успокаивала княгиня разбушевавшегося мужа, уговаривала не обращать внимания на монаха разбойного. Сама же удивлялась, почему Юрия задел за живое бред этого холопа.

А он метался по ложнице, потом остановился перед Агафьей, положил ей руки на плечи, а в глазах смятение:

– Не бред это, Агафьюшка, истину говорил монах, потому-то и обидно. Идёт на нас войско неисчислимое, никем не битое, сметает всё на своём пути...

Вот тут-то Агафья впервые и ужаснулась, как же стар её суженый: вот и морщины на лице, и борода-то не посеребрённая, а седая. Неужели и дух ослабел? Но нет. Заходили желваки, вскинулись брови:

– Вот только врёт он, что Володимир, крепость наша, не устоит. Мы не чета Рязани.

---

<sup>4</sup> Пружи – саранча.

<sup>5</sup> Поруб – тюрьма.

Встревожилась Агафья. Конечно, Владимир – это не Рязань, но ведь Москва не сравнима с Рязанью, худенькая крепостица, а там сидит князем Володюшка, их младшенький. Шестнадцатый годок пошёл ему всего лишь. А ну как монголы эти к Москве пойдут! Уж как противилась Юрию, когда отсылал сына из Владимира, уж как отговаривала. А тот своё, что должен княжич с малолетства привыкать к власти и самостоятельности. Но Володюшка совсем иного склада, чем отец и братья Мстислав и Всеволод. По душе им княжеское величие да бранная слава, а меньший – тихонький, ласковый, застенчивый. Всё о чём-то думает, читает. Перед отъездом, при прощании, дал ей свой вышитый белый платочек:

– Не печалуйся обо мне, мама, посматривай на платок. Коли белый он, значит, у меня всё хорошо, а коли со мной что стрясётся, тоже узнаешь: почернеет он.

Страшно стало Агафье от таких слов, целую неделю проплакала она над платком. Неужто сбудутся Володюшкины слова?

А князь, как будто поняв думы жены, сказал:

– Надо Всеволода с дружиной к Москве подослать, а самому отправляться в Ростов к Васильку, сыновцу<sup>6</sup>, силы собирать.

Долго думать Юрий не любил, и вскоре терем княжеский почти опустел. Агафье не привыкать к походам княжеским. Сколько раз приходилось надолго оставаться одной. И потихоньку жизнь вошла в своё русло. Внуки, хозяйство. Не могла княгиня оставаться без дела. Да и заботы отвлекали от тревог. Но потом случилось то, от чего до сих пор болит сердце. Вернулся Всеволод, разбитый под Коломной, вернулся с несколькими дружинниками. И сам он не в себе. Заперся у себя в ложнице, не выходит, никого не видит и всё только молится. Как подменили сына. Конечно, он и раньше – не чета Мстиславу – был набожным, но не так, как нынче. Главной его забавой была охота. А сейчас всё оружие, что висело у него по стенам ложницы, повыбрасывал за дверь. Себя запустил. Ходит сутулый, с распущенными волосами. И только молится и молится. А ведь раньше был полным, румяным, жизнерадостным. Пыталась Агафья расспросить у него что-нибудь о Москве, о брате, но толку никакого не добилась. Он и своим дружинникам под страхом смерти запретил рассказывать о Коломенской битве и вообще о походе. Чувствовала Агафья, что есть какая-то страшная тайна, но даже слезами не могла вымолить у Всеволода ответа.

Постепенно в ложнице светлело, подобно тому, как в чай добавляли молоко. Всё принимало своё ясное очертание, и густые, тягостные думы разбавлялись заботами о будничном. Кликнула Агафья сennую девку, чтобы одеться. Поклонилась девка и доложила, что к ней просится княжич Боренька.

– Что ему, пострелёнку, не спится? – удивилась Агафья и, когда оделась, велела позвать внука.

Боренька вбежал, как ветер, с шумом распахнув дверь, бросился к бабушке, обнял её и с укоризной промолвил:

– Что ж мы в Суждаль не собираемся? Ты обещала, что поутру поедем?

Тихонько ахнула Агафья, прижала Борю к груди, погладила по голове.

А и вправду запомнила с этими думами проклятыми! Поди, не спал всю ночь, думал о поездке. Уж и оделся – рубашечка, сапожки. Взяла Агафья правую руку сухую, больную сызмальства, прижала к губам. Сколько свечек было поставлено за восемь лет Бориной жизни, сколько лекарей врачевали мальчика, и всё не впрок. А княжич часто, весь в слезах, спрашивал бабушку: «Какой же я буду князь, если не смогу держать меч в руке?» Успокаивала Агафья внука и говорила, что найдётся лекарь и вылечит ему руку. Жалела княгиня его: мать у Бореньки умерла родами, а отец Всеволод внимания на него не обращал, был всё занят своей новой женой, а теперь после Коломны вообще ни с кем не общался. Хотела выписать Агафья

---

<sup>6</sup> Сыновец – племянник.

лекаря заморского, но прослышала, что появился в Суждале монах-старец, что он будто пользуется всякие недуги. Послала она за ним. Но нравный оказался старик. Не поехал в столицу. Разгневалась, было, княгиня, хотела силой привезти старца. Но потом пораздумала: как бы не обиделся монах, хуже бы не сделал. Решила ехать, к тому же и думы чёрные поразвеются.

– Коли обещала, Борюшка, то поедем нынче. Сбирайся, – Агафья погладила внуку вихры.

Тот порывисто обнял бабушку, расцеловал, потом испытующе посмотрел ей в глаза:

– Излечит меня старец, да, бабонька?

– Коли других лечит, что же тебя не излечить.

Внук, весело топоча сапожками, выскочил из ложеницы. А она пошла распорядиться о закладке саней. Поездка не на один день. Неизвестно, сколько времени старец будет пользоваться. Об одежде надо подумать. Да и охрана какая-никакая надобна. Мало ли татей по дорогам шастает.

Но воевода Пётр Ослядюкович, услышав приказания о дружинниках, насупился, сдвинув брови. На его и без того заросшем лице не стало видно ни глаз, ни губ.

– Не можно, матушка Агафья Всеволодовна, ехать, опасно больно.

Княгиня гневно сжала узкие губы, лоб её покраснел:

– Что же это приключилось такое, что ехать мне не даёт?

– Видели люди почти у стен града разведку поганных...

Сощурила княгиня презрительно глаза, усмехнулась:

– С каких пор ты врагов опасаться начал?

Пётр Ослядюкович нахохлился, его крупное тело сжалось, напряглось:

– Не могу я пустить тебя, матушка, на верную погибель. Князь Юрий Всеволодович велел держать мне оборону, если что. Дружинников у меня раз и обчёлся. Для надёжной защиты с вами в Суздаль надо посылать целый отряд...

Задохнулась княгиня от гнева, аж губы её задрожали:

– Ты... мне указывать!.. Как смеешь? Я сказала княжеское слово, больше говорить не намерена! Иди!

Воевода поплёлся к двери. А княгиня раздумалась. Рассудком она понимала, что ехать и в самом деле опасно. Дружинников в городе и вправду немного. Часть с князем уехали. Многие пали под Коломной. Но чувство кипело вовсю. Как, её, княгиню, ограничивают? Она спрашивает разрешения у какого-то воеводишки. А он смеет ей отказывать. Невиданное дело.

Поднялась княгиня в свою ложеницу и в раздражении ходила взад и вперёд. Кто-то было заглянул, осведомился, собираться ли. Она зло, с каким-то неестественным визгом, закричала:

– Я ничего не отменяла!

Никак не могла успокоиться. А тут ещё воевода опять вошёл и вместо доклада о готовности охраны попросил принять какого-то дружинника. Княгиня помолчала, но потом кивнула и добавила:

– Я жду! Не забывай приказ!

Пётр Ослядюкович склонился почтительно и вышел, не затворяя двери, а в проёме появился рослый дружинник в трёпаном кафтанишке, в лаптёшках, единственным богатством которого был меч на поясе. Он поклонился княгине и, как только выпрямился, она, взглянув в его лицо, ужаснулась. Оно было изуродовано шрамами и рублеными ранами.

– Где тебя так? – голос её дрогнул.

– В битве под Коломной, матушка княгиня, – ответил он, снова поклонившись.

– Как звать-то тебя?

– Иванка.

– Чего же ты хочешь, воин? – уважительно промолвила Агафья Всеволодовна.

– Просьбицу имею к тебе, матушка. Разреши зятю моему в дружину вступить. Он охотник. Под Владимиром жил. Наднесь горе великое у него приключилось. Украли разведчики

поганных дочку восьмилетнюю. А жена, сестрёнка моя, с ума после этого сошла. Так у него душа огнём горит, хочет отомстить монголам.

Сжалось у княгини сердце от этого рассказа. Сколько же бед принесли эти неведомые завоеватели! Каждого горе крылом коснулось: и князей, и простых людишек. А воевода, хитрая лиса, нарочно подослал Иванку с таким рассказом к ней. С каких это пор для принятия в дружину требуется разрешение княгини? Ведь это сугубо дело воеводы. Ну что ж, может быть, это и к лучшему. Зачем к горю, которое есть, ещё прибавлять. Гневливая была княгиня, но отходчивая. «Ладно, уж прости меня, воевода, – подумала она. – Много у тебя сейчас забот, да я по глупости да упрямости женской ещё прибавляю». А Иванке она сказала ободряюще:

– Скажи своему зятю, что он уже в дружине. Да и тебя надо приодеть.

– Благодарствую, матушка-княгиня, – дрогнувшим голосом произнёс он и поклонился в пояс. Он уже хотел выйти, но княгиня остановила:

– Ответь мне, Иванка, не видел ли сына моего, княжича Владимира Юрьевича, в Москве?

Как будто хлестнуло плетью дружинника неожиданным этим вопросом. Он напрягся весь, побледнел:

– Нет, матушка-княгиня, – осипшим голосом пробормотал он, не зная, куда девать глаза.

– Ладно. Иди.

Она почувствовала, что не следует вынуждать подчинённого человека признаваться в том, что может принести ему несчастье, а, может быть, и смерть. Но то, что с Володей что-то случилось, теперь нет сомнений. Один человек может раскрыть тайну, только Всеволод. Почему же он держит её в неведении?

Княгиня решительно пошла вниз к ложнице сына. Дверь заперта. Она несколько раз громко стукнула. В ответ ни звука.

– Открой, Всеволод, матери!

После некоторого молчания дверь отомкнулась, и изнутри ударило душным запахом восковых свечей. Всеволод стоял в длинной ниже колен рубахе, босой. Неухоженные волосы торчали в разные стороны, борода всклокочена.

Без всякого вступления княгиня сразу пошла в натиск:

– Ты видел Володю?

Всеволод, не сразу отвечая, отошёл, шлёпая пятками, к лавке, сел, обхватив голову руками, склонился и глухо произнёс:

– Видел.

Агафья Всеволодовна бросилась к нему, под села на лавку, повернула его голову к себе, искательно заглянула в мутные, будто бы сонные глаза сына:

– До или после Коломны?

– До... – выдохнул он, не опуская глаз.

У княгини дрогнули губы:

– А потом?..

– Не знаю, мамонька, потом ведь... поганные рассеяли всё моё войско. Спешно ушёл лесами.

– А Москва? – Агафья Всеволодовна закрыла лицо кулаками. Слёзы просачивались сквозь пальцы.

– Ты думаешь, я струсил? – раздражённо проговорил Всеволод.

– Не знаю, не мне судить... – на судорожном вздохе прошептала она.

– Кому раньше сгинуть, кому позже – всё одно. Я тоже, мамонька, для мира умер. Спасать души надо в молитве, а тела уже не спасёшь. Никто даже во Владимире не отсидится. Кара Божья на пороге!

Он немного помолчал. Мать чувствовала: уязвилась его княжеская честь.

– Я Володю мёртвым не видел. Не надо его оплакивать. Рано.

Он встал со скамьи, подошёл к киоту с иконами, опустился на колени и зашептал молитвы страстно и испуганно. Княгиня с испугом смотрела на него. Никогда не видела она Всеволода таким. Ведь это должно было случиться что-то необычайное, чтобы он из светского человека, воина и гуляки, круто превратился в такого набожного смиренного. Ведь он раньше и монахов-то презирал. Что случилось?

Душно было во Всеволодовой ложнице. Она вышла в сени. Сын даже с места не тронулся, как будто не замечая её ухода.

Агафья Всеволодовна приказала подать ей шубу, пуховый плат, сапожки. Даже у себя она не могла избавиться от чего-то такого, что сводило дыхание, от чего казалось страшно.

На всходе вздохнула свежим воздухом. Морозцем обожгло ей щёки, но было приятно и вольно. На миг забыла о бедах. Над миром стояла голубая бездна. Но если летом небесная голубизна радуется, то теперь она далека и холодна. Да и солнце кажется замёрзшей льдинкой. Снег слепит глаза. Он лежит ровно, гладко. В некоторых местах вспорот саями и размолот конскими копытами. Это кажется оскорблением снежной величавости. Всё вокруг лишь белое и кое-где чёрное. Цвета потеряли свою наполненность и яркость. Они кажутся какой-то разновидностью чёрного цвета, только в разных местах более или менее сгущённого. Лишь золотые купола Успенского собора горят, как живое пламя. Белые же стены его будто изваяны из снега, и потому удивительно, как же они не тают от пожара куполов. Княгиню потянуло к Успенскому собору. Всегда находила она там успокоение и умиротворение.

После ослепительно белой улицы в соборе показалось сумрачно. Многочисленными точками выплывали из темноты огоньки свечей. Перед княгиней расступились. Она подошла к иконе Божьей Матери и не могла оторваться от её скорбного и кроткого лика. Княгиня перекрестилась и прошептала:

– Матерь Божья, спаси и помилуй чад моих!

Часто она сюда приходила и часто говорила эти слова. Но раньше это получалось как-то заученно, обыденно. Теперь в них были вложены страдания, бессонные ночи и сердечная боль. Беда была близко, она дышала в затылок. Кажется, оглянись, и вот она перед тобой. Неизвестность пуще всего гнетёт. Не могла она верить, что нет на свете её Володюшки. Каждый день разворачивала подаренный им платок. А он белоснежный. Вот и успокаивалось сердце материнское хотя бы малость.

Сзади слышались лёгкие шаги. Это епископ Митрофан. Хоть и немолодой он, но быстр на ногу. Сухощав. Лицо в сплошных складках морщин. Глаза тоже быстрые, но не хитрые, а добродушные. Голос густой, приятный, успокаивающий:

– Княгиня, что за печаль на лице?

Она поведала ему все свои беды.

– Поверь свои заботы Господу, – смиренно склонил он голову, – молись, и придёт в душе благодать.

– Отче! – воскликнула она. – Откуда же напасти нам такие, монголы эти проклятые?

– Всё за грехи наши многочисленные Господь посылает испытания.

Ну, какие уж особые грехи у Володюшки, подумала княгиня. В тринадцать лет увезли в Москву. За эти три года видела она его раз пять. То он приезжал в стольный град. То она к нему наезжала. Скудная жизнь в Москве. Никого в Кремле, кроме дружинников. Воеводой там человек хороший – Нянка Филипп. Заботится о Володюшке. Но сын там привык. Да и как ему не привыкнуть! Не всё ли равно, где книги читать. Когда уезжал, умолял батюшку разрешить ему писания рукописные взять. Сердился Юрий, говорил, что это дело монахов с книгами возиться, а княжич должен волю свою закалять для походов будущих да руку к мечу приучать. Но умолила Агафья мужа, говорила, разве плохим князем был Константин – и боевым, и в то же время сколько книг во Владимире собрал... Сдался Юрий, хотя и не очень-то любил вспомнить о брате. Было время, когда по милости Константина томился Юрий в богом

забытом волжском Городце, но уважал брата. А Володя боготворил дядюшку, хотя почти его и не помнил. И всё за книжное собрание да за школы, открытые Константином во Владимире.

Раньше Володюшка частенько приходил к матери и читал вслух жития святых и князей. Сама-то Агафья не очень-то любила читать, но слушать ей было по душе. Тут и всплакнёт, и улыбнётся. Как-то в то время казалось ей, что муки святых слишком уж преувеличены. Но всё познается с годами. Вот у неё сейчас одна беда за другой. Как снежный ком нарастает...

И опять взор Агафьи устремляется к лику Богоматери. Долго шепчет она молитвы, вкладывая в них желание изменить всё к лучшему. А как изменишь? Видимо, терпеть надо и ждать.

Грустное церковное пение входит в само сердце, аж горло перехватывает. Агафья вспомнила давешнего дружинника Иванку и что у его сестры татарские разведчики украли дочку. Вот уж горе без надежд и успокоения. У княгини сжалось сердце. Чем бы помочь бедняжке? Ведь дружинник сказывал, что она с ума сошла. Может быть, ей лекаря какого-нибудь, а если бесполезно, то в монастырь устроить?

Княгиня решительно двинулась к выходу из собора, вскинув голову, как будто стряхивая печали, навеянные и пением, и убаюкивающим запахом восковых свечей. От яркой белизны снега на воле защипало глаза, она зажмурилась. Приостановилась, чтобы привыкли глаза. Сидящие возле входа в собор нищие потянули к ней руки, загнусавили юродивые. Сопровождающий её охранник хотел шугнуть их. Но она остановила его, засуетилась, вытаскивая припасённую на тот случай снедь... И вдруг сзади какой-то надрывный голос захрипел зло и захлёбываясь:

– Не откупишься, княгиня!..

Она резко обернулась. На снегу сидел, скорчившись, горбун в монашеском одеянии и красными воспалёнными глазами, казалось, хотел пригвоздить её. Она вздрогнула. Он так был похож на монаха, которого допрашивал Юрий перед отъездом в Ярославль. Но того, как она помнила, князь приказал казнить. Не призрак же это? Его бесстрашные ненавидящие глаза жгли.

– Православные! – голос монаха переходил то в сип, то вдруг набирал силу, гремел над столпившимися людьми. – Князь Юрий предал нас. Он удрал... оставил заложницей вот эту... – монах красной дрожащей рукой указал на Агафью Всеволодовну. – Он ею хочет откупиться перед басурманами...

Глаза у монаха почти вышли из орбит, изо рта шла пена. Княгиня, выронив узелок, закрыла руками лицо, чтобы не видеть этот страшный призрак. Силы покинули её и, показалось, что и сердце остановилось.

## Владимир Юрьевич

Они были похожи на скот, согнанный в одну кучу. Для них зажгли костры, и они, израненные и почти раздетые, жались к этим кострам, стараясь уловить хоть каплю тепла. Но это было трудно. Людей было много, а костров мало. Охранники всё предусмотрели. Сами вольготно грелись у огня, не обращая внимания на копошащихся пленников. В самом деле, кто из них задумает убежать? Куда? В леденящую темноту? Так далеко не убежишь. Остановит мороз и превратит в окоченевший труп. Ночь – союзница татар. Лопочут между собой, смеются над замерзающими русскими. Им-то не холодно. Одежда у них тёплая, несколько кож воедино сшиты мехом наружу. Со стороны они кажутся какими-то двуногими зверями. И взгляды их свирепы и кровожадны. Но это во время боя. Сейчас они довольны и умиротворены. Русские города богаты, их много. Повозки ломятся от добычи. Сколько ещё крепостей покорят они, превратят в пепел? Вот на пути большой город Ульдемир. Разведчики сказывают, что весь он на солнце горит золотом. Это сулит ещё больше добра, сотни белых русских рабынь. Много их там за стены Ульдемира попряталось. Город огромный, крепкий, трудно взять его. Но верят татары

богу Сульдэ и своему живому богу хану Бату. Вот он в белой юрте нежится от тепла и жирного мяса, любитесь на добычу, что разложили перед ним: меха, драгоценные украшения, и раздумывает о том, как бы без лишней крови овладеть Ульдемиром. Есть у него хитрая задумка. Взяли батыры в сожжённой Москве княжича Владимира, сына великого коназа Юрия. Пятнадцать или шестнадцать зим ему всего лишь. Стройный, хрупкий, как девушка. Голосок ещё полудетский. Глаза испуганные. Сорвали батыры с княжича всю его дорогую одежду. Стоял он перед ханом в одной рубашке, босой. Дрожал. Показалось хану на миг, что княжич трепещет перед его величием. Задрал он свою бородёнку, впился узкими глазками в слезящиеся глаза княжича, хотел внутрь их заглянуть. Малыш, а перед ханом на колени встать не хочет, не целует ханскую туфлю. Но необходимо этого щенка приручить. Уж, верно, знает он тайный ход в крепость ульдемирскую. О, как хорошо было бы войти внутрь города без всяких хлопотных приступов! Сколько батыров уже похоронено после каждого взятия! Эти урусы очень упорны, сопротивляются до конца.

Бату вызывал вчера шамана и спросил, удастся ли ему уломать княжича. Тот долго дымил, бормотал, бил в бубен. И духи сказали ему, что послужит княжич пресветлому солнцеликому хану. Обрадовался Бату, одарил шамана конями и рабами.

Стоит юный княжич, дрожит. Не стал хан добиваться поклона. Надо брать лаской. Посулил ему тёплую юрту, слуг, хорошую еду. Сразу про тайный ход спрашивать воздержался, чтобы не спугнуть. Только о службе ему, хану, молвил. Нахмурил княжич брови, отвернулся. Вскипело сердце ханское от досады. Не хочешь ласки, ну так помучайся! Хлопнул в ладоши и велел непокорного княжича отвести наружу. Пусть разожгут отдельный костёр, поставят охрану, но одежды не давать – пусть так в рубашке и сидит-вертится: с одного боку будет жарко, с другого студёно.

Дрожал княжич Владимир перед ханом не от страха, глаза не от этого слезились. Напала огневица-лихорадка на него. Ознобом всё тело сводит, а то жаром жжёт. Еле устоял в ханской юрте. Ломают всё тело огневица. Не замечает княжич ни жары от костра, ни ветра ледяного пронизывающего. Но пуще всего томит его обида за позор, который пришлось ему пережить, и бессилие. Позади Москва, сожжённая дотла. Вперемешку со снежинками носит ветер чёрную горькую золу. От пожара великого растаял снег, и земля на пепелище тёмным пятном выделяется среди общего белоснежья. Теперь трудно представить, что неделю назад стояла Москва нетронута: из подворотен лаяли собаки, из труб курились дымы, по кузням стучали молоты. Люди жили обычной жизнью, только было тревожно. Подбирались враги. Уже к Коломне продвигались. Но тревога малость рассеялась, когда через Москву навстречу монголам прошла дружина брата Всеволода, к ней присоединились и новгородские воины.

Оживлённым и весёлым был Всеволод, передавал поклоны от батюшки и матушки, от брата и сестры, рассказывал столичные новости. Несмотря на пост, приказывал на кухне поджарить кабанчика, раскупорить вин заморских. Пировали они до полуночи и дольше. Поутру воевода Еремей Глебович еле добудился Всеволода. Надо было ехать. Обещал князь на обратном пути завезти в Москву на показ голову монгольского хана Бату. Владимир выделил брату десятка три своих дружинников, хотя московский воевода Нянка Филипп ворчал и сердился, как будто предчувствовал что-то недоброе. И предчувствие сбылось. Не вернулись ни дружинники, ни Всеволод. Ничего не известно о судьбе их. Через два-три дня враги окружили московскую крепостицу. Вокруг, насколько глаз видел, копошились эти неизвестно взявшиеся отколь люди. В воздухе пахло конским потом, и стоял несмолкаемый гомон. Пока монголы стягивали силы, было спокойно, и москотяне, павшие духом, стояли, как во сне, на стенах крепости и смотрели на этот содом. Но как только засвистели стрелы, послышались первые предсмертные стоны, и враги, подобно чёрным муравьям, полезли на приступ, защитники очнулись и полетели вниз горшки с горящей смолой. Женщины на кострах грели воду и из вёдер выплёскивали в бесстыжие глаза нападающих кипятки. Мужчины отвечали дождём стрел... Дружин-



ники стояли с мечами в самых уязвимых местах, готовые рубить отчаянные вражеские головы. Ожесточённая схватка продолжалась несколько дней. В пылу боя не замечали ночи. Но всё хуже и хуже было москowlянам. Пылали деревянные стены, подожжённые осаждавшими, и скоро нечего было защищать. Дрались уже врукопашную за собственную жизнь.

Воевода Нянка хотел было спрятать княжича где-нибудь в надёжном месте, но взбунтовала мальчишеская кровь. Взглянул Владимир на воеводу гневно. Все от малого до старого на стенах крепости, а он, как мышь, должен сидеть в потайке? Снял Владимир со стены в своей ложнице меч, надел шлем, нацепил княжеское корзно и выскочил на волю. Воевода бежал и кричал вслед, чтобы хоть княжич переделся в простое, чтобы не быть замеченным врагами. Но куда там! Уж очень хотелось юному княжичу показать свою статью и храбрость.

Воевода рубился рядом с княжичем, пока лихая стрела не впилась ему в шею. И перед смертью, хрипя, вымолвил он последние свои слова:

– Возмоги, княже... возмоги...

Но через некоторое время всё было кончено. От пожара крепости занялись огнём даже близлежащие рощицы. Монголы добивали раненых, связывали здоровых пленников. Княжич не заметил и сам, как стал пленником. В открытый бой монголы с ним не шли. Они суживали круг, в который он попал, отбивали удары меча. Потом сзади на него набросились, смяли, вышибли меч, и он стал бессильным. В ярости тыкал куда попало кулаками, кусал врагов за руки...

Костёр разгорелся огромный. Не жалели для него монголы сушняку. Сколько таких костров по полю, но у иных блаженствуют победители, у других не спят, кусают в кровь губы от ненависти и бессилия пленники, спелёнанные безжалостными верёвками. А в чёрном небе звёзды: то ли отражение земных огней, то ли там горят свои костры, за которыми тоже радости, тоже горе.

«Возмоги, княже...» – говорил Владимиру перед смертью воевода. Но ведь знал, что не одолеть уже москowlянам врагов, что все уже перебиты. Он, наверное, понимал, что монголы не убьют Владимира, а постараются приручить юношу, сломить его волю. Задумался юноша, а выдержит ли он? Не склонился он перед татарским князем, хотя слышал в Батыевой юрте русский шёпот:

– Поцелуй пресветлому ногу, покорись!

Совет неизвестного предателя был, как пощёчина, как оскорбление. Он, потомок Мономаха, будет стоять на коленях перед поганым степняком! Владимир хотел встретиться глазами с иудой, чтобы обжечь презрением...

И вот он, раздетый, униженный, сидит у этого костра под присмотром двух монгольских воинов. Вначале они с любопытством рассматривали его, лопоча что-то по-своему и смеясь. Но постепенно сморились и дремлют, склонив головы. Порой то один, то другой, очнувшись от дрёмы, подбрасывают в костёр сушняка. Княжича томит огневица, ломая суставы и опалая внутренним жаром. Что делать? Возможно ли вырваться от этого постыдного плена?

Языки пламени стелятся, тянутся к нему. Где спасение? Конечно, столицу монголам не взять. Обломают зубы они о неприступные стены, как и многие поганные во все века существования града Володимера. В бессильной злобе они, конечно же, убьют его, а до этого поизмываются вволю, добиваясь от него покорности. Так стоит ли испытывать это... Вон огонь манит его. Посреди пламени вот он, чёрный круг, в котором и забытьё, и успокоение. Надо только прорваться через бушующее пламя, через кольцо боли. Эти проклятые монголы там не догонят его. Княжич рывком бросил тело в огонь...

Кто-то пристальным сверлящим взглядом смотрел на него. Глаза его, вздрогнув, открылись, и он в первое мгновение испугался, увидев над собой закопчённый свод юрты. Отверстие наружу в центре свода. Пахло кислой овчиной. Первой мыслью было: неужто он в беспамят-

стве наобещал этим проклятым мучителям. И вот она, посулённая Бату юрта. Княжич скосил глаза в сторону. Подле него на ногах калачиком сидел пожилой монгол в шапке, в своём несуразном одеянии. Лицо напряжено. Заметив движение зрачков пленника, он оживился. Узкие глаза сверкнули радостью:

– Долго спала, коназ, долго!

Голосок тонкий, какой-то тягучий. Лицо в морщинах, как мочёное яблоко. Владимир рывком приподнялся, но боль как будто ждала этого: всё тело будто бы опалило огнём. Он заметил, что весь спелёнат какими-то тряпками, дурно пахнущими. Но смесь, которой пропитаны тряпки, была целебной, потому боль вскоре опять утихла.

Монгол увидел, как Владимир морщится от боли:

– Коназ, ой-ой, обгорела. Коназ хотела уйти сарство тени. Бату всемогуща не разрешила коназу. Бату велела лесить коназа. Коназ, целуй туфлю Бату и говорит тайный ход в Ульдемир.

Княжич вспомнил о чёрном пятне в центре костра, где было его спасение... И этого-то он не смог. Значит, не успела огненная всепожирающая стихия дотянуться до его сердца и спалить его. Он опять шевельнулся. Боль, как в тисках, зажала всё тело. Княжич замотал головой, пытаясь вырваться из этих тисков, чтобы не слышать нудный голос монгола. Но тот, видно, любил поговорить, или ему было приказано этой нудностью пытаться княжича.

– Солнцеликий Бату всё мозет. Коназ будет послусна – Бату повелит ему быть большим коназом на Урусской земле. Непослусна коназа, и в сарстве тени коназу покоя нет. Бату велик, он бог на земле. Он всё завоюет. Бог Сульдэ помозет Бату. Скази тайный ход в Ульдемир...

Монгол, думая, что убедил княжича (кто откажется от великого княжения, да ещё в такие юные леты), наклонился, вглядываясь глазами-щёлочками в измученное от боли лицо княжича:

– Мне бы... русского... для услужения, – услышал монгол только эти слова. Монгол в душе возликовал. Ведь это условия сдачи. Это его воодушевило на словесный поток:

– Бату солнцеликий милостив. Он разресыт русского коназу, он всё разресыт. Большие коназы покорны Бату, они ходят в бою за Бату у его стремени. Милость надо заслужить...

Монгол захлёбывался словами, брызгал слюной. Замусоленный халат опустил с плеча, обнажив дряблую жёлтую кожу. Но он не замечал этого. Он пел славу своему повелителю. В порыве вдохновения сбивался на родной язык и снова коверкал русские слова. В этой полупонятной речи было ясное желание склонить княжича к предательству. Угрозы чередовались со сладкой лестью. Своим взглядом он как бы пытался влезть в душу русского пленника. Монгол презирал его и, если бы его воля, раздавил бы мальчишку, как ящерицу, потому что тот медлил с ответом. Но Бату обещал ему в случае успеха большую награду. Хан умел быть щедрым. И тогда-то он познает вкус сладкого покоя и счастья, которого ждал всю жизнь. Хан знал, кому поручить дело. Что толку давать его богачам? Особо стараться они не будут. А у Джубе ничего нет. Только старенькая сабля. Но много ли он добудет в бою? Силы не те. Когда-то был сильным. Ходил походом на урусскую землю ещё с великим Чингиз-ханом. Привёл тогда домой и скот, и семью пленников. Но урусская рабыня с детьми вскоре умерла от какой-то болезни, а раб долго служил Джубе. Светловолосый, бородатый, мускулистый. И нрав у него спокойный. Заставил его Джубе научить урусской речи и разговаривал с ним только по-урусски. Чувствовал, что понадобится это умение. Боги отвернулись от Джубе. За долги пришлось продать и раба, и скотину. И стал он бедствовать. Но теперь боги вспомнили, что были несправедливы к нему... Бату сказал, что юному коназу можно обещать всё, что ни придёт в голову Джубе. Главное, выведать, существует ли тайный ход в ульдемирскую крепость. И Джубе будет хитрым, как лис, коварным, как шакал, напористым, как орёл, но заставит мальчишку всё рассказывать. Вообще-то урусы странный народ. Их невозможно уговорить, суля какую-либо милость. В этом Джубе ещё на своём рабе убедился. Они не любят насилия, упрямы становятся и дерзки. Только когда всё по-хорошему, на равных, тогда с ними можно разговаривать. А иначе изму-

чаешься. Вот и этот княжич. Бату считал, что тот одумается, когда отправлял его, раздетого, в чисто поле. А он взял да в огонь бросился, захотел уйти в царство тени и ничего не сказать. Хорошо, охранники догадались закидать его снегом... Да и сейчас жизнь его на волоске – ожоги и лихорадка.

Джубе вглядывался в пылающее жаром лицо княжича. Вот опять сознание потерял. Что теперь толку сидеть около него? Может, и в самом деле русского слугу ему дать? И уход будет, да и упрямства малость поубавится, сговорчивее станет. Но только как бы не убежал. От этих урусов всё можно ждать. Надо что-нибудь придумать.

Когда Владимир в очередной раз очнулся от тяжёлого горячего забытья, он не увидел над собой надоедавшей физиономии монгола. Всё также пахло кислой овчиной, трещал костёр посередине юрты, а около огня, сжавшись в комочек, сидела девчушка в лёгком рваненьком платице. До плеч у ней свисала косичка. Неужто своя, русская!

Княжич хотел позвать её, но никак не мог разлепить ссохшиеся губы. И под руками не было ничего твёрдого, чтобы стукнуть и обратить внимание девочки на себя. От беспомощности и досады он застонал. Девочка встрепенулась и подбежала к его ложу. Встала на корточки и смотрела с состраданием на него:

– Тебе больно?

Большеглазая, веснушчатая, с аккуратным носиком, с крупными влажными губами, лет восьми, не больше. От виска по щеке до подбородка рубец, похоже, от плётки. Да и глаза красные, натёртые, видать, часто плачет. Наверно, сирота.

Княжич пошевелил губами, давая знать, что хочет пить. Она заботливо подала воды, вытерла с подбородка и шеи княжича пролившиеся струйки.

– Чья ты будешь, девица? – тихо прошептал Владимир и попробовал улыбнуться. Но улыбки не вышло, только сморщился.

Девочка смутилась, никто её ещё так не называл.

– Настёнка, – только и ответила.

– Московлянская? – снова спросил, прикрыв глаза.

– Деревенская, из Берёзок.

– Где это?

– Близ Володимира.

Княжич вздрогнул, глаза встрепенулись, встревожился он:

– Нешто, поганые к Володимиру подступили?

Настёнка примолкла, губы её дрожали, из глаз закапали слёзы:

– Украли меня тати, утащили... Тятенька один... – она не договорила, закрыла руками лицо, согнулась и заревела взхлёб и в голос.

Долго не могла девочка успокоиться. Да и княжич-то держался еле-еле, того и гляди, сам заплачет, губы в кровь покусал. Но нельзя: ведь мужчина всё-таки.

– У меня-то, Настёнка, маменька и тятенька тоже далеко, и не знают они, что я в басурманском плену, – сказал он, чтоб успокоить её. Похлопала Настёнка ещё малость носом, успокоилась – любопытство взяло верх:

– Ты, боярин, поди? Вон рубаха-то кака тонкая.

Владимир улыбнулся. От рубахи осталось одно воспоминание – вся в крови, в дырах от костра, тёмная от пота.

– Княжич я, сын великого князя Юрия Всеволодовича.

Настёнка испуганно заморгала глазами, приоткрыла рот:

– Так намерни, как меня тати украли, приезжал к нам с тятенькой в избу князь. Толстый. Сердитой. Разжёл у икон огоньки, молился долго-долго, токмо тогда уехал.

Пришёл черёд удивляться Владимиру. По всему видно, говорила Настёнка про Всеволода. Кому ещё толстым быть?

Приподнял княжич голову:

– Почему знаешь, что князь?

– Так, тятенька сказывал, и воины, которые с ним были. А ты баешь: ты – князь?

– У меня ведь два брата: толстый Всеволод, а ещё Мстислав. А я меньшей. И сестрицы есть.

– Ну, тогда, може, и ты князь.

Но всё-таки недоверчиво смотрит Настёнка на Владимира. Разве такие князья бывают? Тонкошей, плечи узенькие, голос срывается на мальчишеский, волосы белёсые. Чем он отличается от Федотки, их пастушка деревенского? Да и то, тот покрепче будет. Вот толстый Всеволод, что молился у них в избе, похож на князя. Раньше, когда тятенька с набитой дичью, которой было ужас как много, ехал в столицу, на её вопрос, кто же это всё съест, отвечал: «Всё это князю»...

Не стала возражать Настёнка княжичу – вдруг рассердится. Она уж рада тому, что её приставили к этому мальчишке. Боится она злых узкоглазых татей и баб их, которые ходят в штанах, ездят верхом и громко гикают. Эти моголы, чуть что, дерутся плёткой. Но и она тоже крепко искусила руки татям, которые её украли, хотя они её за это побили. До сих пор лицо горит. А вчера старый сердитый монгол взял её за ухо и, покручивая, смешно говорил:

– Твой должен сидел у коназа и глядел. Сто коназа сказал, ты делал. Захотел уйти, ты мне говорил.

Мало чего поняла Настёнка из этого лопотанья и если бы услышала подобное дома, то хохотала бы без удержу. Но тут она всего боится. Всё у этих татей не по-людски. Изб нет. Сидят у костров. Ставят маленькие домики из шкур. Сюда только на четвереньках залезать. Пьют лошадьё молоко. А уж русским от них пощады никакой нет. Вон их сколько, повязанных, сидит у костров. Всех слабых тати тут же убивают, никакой жалости. И откуда они только взялись? На нашу-то голову. Костров окрест видимо-невидимо. Всю Русь заполонили.

– И откуда токмо эти басурманы? – спросила Настёнка княжича. – Тебе уж не мочно болеть, они больных не любят, – промолвила Настёнка и хотела сказать, что делают басурманы с больными, но осеклась: что зря человека расстраивать. Но княжич её уже не слышал, снова память потерял. Протянул руку к костру и слабо захрипел:

– Вон дружина... Сейчас я... Здесь я, здесь!

Намочила Настёнка тряпицу водой, положила на его горячий лоб, сразу притих он, и рука на пол упала.

Сколько времени прошло, княжич не ведал. Много было провалов памяти в жаркую черноту, а когда входил в сознание, поочерёдно видел то испуганные трогательные глаза Настёнки, то недовольного монгола. Порой то, что было наяву, и видения беспамятства сливались, и ему трудно было во всём разобраться.

Но вот болезнь отступила, мышцы крепили, и он уже начал сидеть. Места ожогов ещё зудели, но с каждым днём становилось всё лучше и лучше. Настёнка мазала ожоги каким-то монгольским жиром. Все обрадовались улучшению. Монгол зачастил. Надолго садился и изводил опять своей нудной болтовнёй:

– Коназа, зная милость солнцеликого Бату. Великий и богоподобный разресыла взять коназа сарство тени, разресыла русской девоска. Бату всё разресыт. Коназа долзна послусна. Коназа тепло, юрта, холосо. Коназ будет пить кумыс, будет кусать мясо. Коназа будет толстой. Нужно тайный ход Ульдемир. Селуй туфля Бату, говори тайный ход!

Когда болел, Владимиру было легче. Закроет глаза, затихнет и как будто сознание потееет. Посидит монгол, поворчит на своём языке, поплюётся и уйдёт. Но теперь было трудно уклониться от прямого ответа. Вначале княжич решил вообще не разговаривать с монголом. Что будет, то и будет. Но когда узнал от Настёнки, что Всеволод ушёл во Владимир, он стал надеяться, что брат вместе с отцом скоро ударят по этим проклятым басурманам и вызволят

его из плена. Надо только немного подождать, немного окрепнуть. Призакрыл глаза Владимир, произнёс, не сумев скрыть усмешки:

– Я думаю...

Монгол взвился, как ужаленный:

– Коназа хотес обмануть Бату. Надо говорить тайный ход. Бату придавит коназа, как собаку, сдерёт козу. Коназа уйдёт сарство тени. Мангусы<sup>7</sup> созрут коназа.

Могол топал ногами, брызгал слюной, путался в русских словах. В довершении вынул из-за пояса плётку и наотмашь ударил Владимира несколько раз по голове.

Только охнул княжич, но не промолвил ни слова, зато дико завизжала Настёнка и вцепилась зубами в жилистую волосатую руку монгола. Тот и её огрел плёткой и, ругаясь, вышел из юрты.

Досадно было Джубе, что княжич всё увिलивает от ответа. Всё что-то выгадывает, скрежетал зубами монгол. Ждать-то уж некогда. Бату с войском уже стоял у стен Ульдемира. Город огромный, неприступный. Как бы впору было признание княжича о тайном ходе. Нынче прислал хан посыльного с требованием тайны. Терпит пока солнцеликий, но расплата будет крутая. Не понимает этого проклятый мальчишка. А он, Джубе, старый лис, знает, что и ему попадёт за то, что не смог вывернуть княжича наизнанку. Его жизнь зависит от ответа этого зверёныша. Потому и не выдержал Джубе, показалось, что тот над ним насмехается. Да ещё и побаивается старый монгол. Из-за болезни княжича пришлось оставить здесь в чистом поле немногочисленный стан. То и дело летучие отряды недобитых урусов натываются на них. Хорошо ещё, что пока удаётся отбиваться. А если бог Сульдэ не поспеет, и выкрадут княжича? Тогда уже к Бату показываться бесполезно, можно считать себя жителем царства тени.

А время шло. Уже выходил княжич, держась за плечо Настёнки, из юрты. С надеждой вглядывался в белую даль. Всё ждал помощи. Накинув шубёнку, тихонько бродил между костров, мимо лопочущих татар и мимо пленных русских. Сколько раз хотел присесть подле своих, чтоб хоть как-то подбодрить. Но останавливали хмурые взгляды из-под насупленных бровей. Кто он был для них, холодных и изголодавшихся, связанных верёвками? Он волен ходить только около юрты под присмотром стражи. Он то и дело чувствует озлобленные глазки Джубе. Пока ещё есть у того терпение, не забил плетью, не накинул аркан на шею. Но они-то этого не знают. Как объяснить это москотянам, которые недавно считали его своим князем и для которых он был подобно знамени? Что они думают о нём сейчас? Как о струсившем мальчишке, который взамен свободы и жизни и тёплой юрты что-то пообещал поганым. Шептал про себя Владимир, как заклинание: «Погодите, потерпите, скоро уж». Но порой заходило сердце в страхе и отчаянье, и тогда, особенно по ночам, плакал княжич навзрыд, как маленький, повторяя: «Мамочка, мама!» Тогда, казалось, все ожидания напрасны, и впереди только смерть, неведомая и нежеланная. А злой монгол Джубе всё грозит ханским гневом. Какое счастье, думает про себя княжич, что не ведает он про тайные подземные ходы во Владимир. Слышал он от монгола: есть у них трава такая, что напоят её отваром, и человек выскажет вслух заветные свои мысли. Не хочет, а всё расскажет. Поили они его этой травой, нет ли, он не ведает. Но всё равно толку не добьются.

Как хорошо, что есть рядом с ним Настёнка, а то бы давно, наверное, кинулся на пики монгольские, так тяжело бывает. А у Настёнки голосок, словно колокольчик. И заботливая, работающая, не смотри, что маленькая. И откуда всё знает? Притащат монголы кусок конины, она заставит их разрубить мясо на кусочки. В котёл кидает. А пока похлёбка варится, сходит за хворостом. И уж не боится больше монголов, а даже покрикивает на них. Но порой сядет, глаза грустные. Ясное дело, сладок ли плен, да ещё такой малютке.

– Княже, а почему звёздочки горят? – спросит вдруг, а глаза светятся любопытством.

---

<sup>7</sup> Мангусы – сказочные чудовища.

– Кто-то кого-то ждёт, молится за кого-то, в небо смотрит... как в реке глаза отражаются.

– Тут мамонькины и тятенькины глазки, – ещё зорче вглядывается вверх Настёнка, – которы токмо?

И княжичу тоже хочется верить, что смотрят на него не холодные равнодушные звёзды, а те, у кого изболелось сердце от разлуки с ним. Мерцают далёкие небесные огоньки, то даря надежду, то отнимая её. А перемен никаких, долго-долго одно и то же.

Но вот однажды проснулись они с Настёнкой от шума и визгов. В свете полыхающих костров видели они страшное зрелище: монгольские воины рубили пленников. Стоны, крики... Сначала трудно было понять, в чём дело. Только зловещие тени мелькали на фоне костров. В непонятной неразберихе голосов княжич уловил слово, которое то и дело выплывало и взлетало птицей надежды:

– Урусы! Урусы!

Это выкрикивалось монголами коротко со страхом, и Владимир понял, что где-то близко наши. Сердце бешено заколотилось. Хотелось прыгать, кричать от радости. Но от костров к нему уже бежали монголы, и первым Джубе. Сжал княжич горячую Настёнкину руку и прокричал ей: «Беги!» Он подтолкнул её за юрту, а сам побежал в другую сторону. Все силы, которые накопились в нём за время выздоровления, отдавал он этому бегу. Он слышал, как сзади тревожно визжали монголы. Ему казалось, что он бежал очень долго и быстро. Слышал своё прерывистое дыхание и ещё тихий голос погибшего воеводы Филиппа Нянки, который заклинал: «Возмоги, княже, возмоги». И ему казалось, ещё немного и...

И тут будто небо обрушилось ему на голову. Страшная сила остановила княжича и повалила его наземь. Горло сдавило так, что он задохнулся. Ему хотелось избавиться от этого удушья, но пальцы нащупали на шее безжалостную твёрдую петлю аркана. В сознании мелькнуло, что теперь всё бесполезно, и мир вокруг померк.

## Харитинья

Избушка Харитиньи притулилась к крутому валу у Волжских ворот Владимира. Сама она, подобно Харитинье, старенькая, невидная. Крышу летом проливает, а зимой холодный ветер пробивает её насквозь. Люди удивляются, как до сих пор избёнка не развалилась. Но некому у Харитиньи поправить её. Был когда-то муж, охранял Волжские ворота. Шальная стрела унесла его на тот свет. Были и дитятки, которые младенцами примёрли. Один сынок до отрочества дожил. Уж она его любила, лелеяла, да не сберегла. Вышел как-то за ворота крепостные гулять, к Клязьме, да так и не вернулся. Искали его, искали – всё тщетно. То ли утонул, то ли лихие люди забрали, бог ведает. Долго Харитинья с мужем горевали и не знали, то ли за здоровье, то ли за упокой молиться. После смерти мужа Харитинья уже всех за упокой поминает. И себя она приготовила к скорому отходу в мир иной. Да и что держало её на этом свете? По нужде, для прокорма, она сажала около дома репу, морковь... Держала козу, но вот только тяжело стало даже сено запасать. Ноги болели. По осени да в первозимье кормила козу яблоками, которые росли у дома видимо-невидимо. Запасала их впрок и хранила, подкармливала козёнку. А там уж приходил черёд и сенца. Ну а сколько радости было у них, когда по весне первая травка высыпала! Тут радовалась Харитинья и солнышку, и теплу.

Давно уж подумывала Харитинья взять на постой кого-нибудь и для помощи, и для того, чтобы, если придёт смерть в одночасье, похоронили её. Да никто не шёл в её развалюшку. И вот как-то перед Рождеством постучались двое: мужик да бабёнка. Молодые. У мужика в глазах печаль, а бабёнка какая-то чудненькая. То ревёт, то хохочет взаходы, то начинает что-то непонятное бормотать и махать руками. Мужик просится на постой. Уж не знает Харитинья, что и сказать. И надо бы постояльцев, и боязно чего-то.

– Жёнка-то не порченная? – решила она спросить напрямик.

– Нет, – наклонил голову мужик, и желваки у него заходили, – умом тронулась малость моя Марфуша. Да горе-то у нас такое, что дивлюсь, как сам я головой не повредился. Украли у нас басурмане дочку единственную. Да что говорить! – махнул мужик рукой. – Никак не выплачем мы это горе.

– Охти, батюшки! – вскрикнула Харитинья. Как же похоже всё это на её судьбу. Дрогнуло сердце, вспомнив вроде уже затянувшуюся рану, забилося часто-часто.

– Да ты, бабушка, не бойся. Марфа моя тихая. Просто переживает тоже: ведь второй день ходим, никуда не приткнёмся. Жалеют люди, да у каждого припасены разговоры про свои невзгоды. Никто не берёт к себе.

– Никто не берёт, а я возьму! – решительно и твёрдо ответила Харитинья, вся неуверенность её пропала.

Мужика аж оторопь взяла от такого неожиданного поворота дела. Он уже готов был уходить. А тут инда задрожал от радости:

– Бабушка, да я для тебя всё сделаю. Маменькой буду считать тебя. Да и Марфа не в тягость тебе будет: что скажешь, она сделает. Она всё порой понимает, только совладать с собой не может.

– Да мне многого не надо, – всхлипывала Харитинья и вытирала ладонью слёзы. На козу летом сенца запасти да избёнку поправить. А я уж за твоей женой пригляжу.

Уж не первый месяц живут Авдей и Марфа у Харитиньи, и рада она радёшенька, что бог ей послал хороших постояльцев. Первое время ходил Авдей ставить силки в ближнем леске за крепостными стенами. Было у них мясо свежее. А потом опасно стало ходить. Наезжали монгольские отряды, постреливали. Пошёл Авдей в городе работу подыскивать. И нашёл-таки: тушки свежевать и шкурки выделывать. В этом деле он был горазд.

Забыла Харитинья, что недавно к смерти себя готовила. Надо было к приходу Авдея обед сварить да и постирать. Помогала ей и Марфа. Любила она и порядок в избе наводить. Когда спокойная, она вроде всё понимает, всё разумеет. А уж когда разволнуется, как будто в туман уходит. Как-то привёл Авдей брата её, Иванку. Тот её целовать, обнимать, разглядывать. А она закрывается руками от него, убегает, визжит. Посмотрел Иванка на всё это, встал на колени, начал рвать свои седые волосы:

– За что, Господи, за что? – а у самого из глаз слёзы. Да неужто нет у Бога милости? Сколько же злодейств должны совершить поганные, чтобы земля разверзлась под ними? Неужто не переполнилась чаша Господня?

Разве могла тут сдержаться Харитинья от слёз. Она так близко принимала горе этих людей, что стала считать их своими детьми. Да и Авдей называл её маменькой.

Посмурнел Авдей, когда всё больше и больше стали ходить по городу разговоры, что монголы ходят окрест, не боясь, и ставят вокруг города свои палатки.

– Не могу я, маменька, заниматься шкурками. Сердце у меня стонет, и рука зудит на поганных. Ведь я стрелок хороший. Оружие в руки хочется взять.

Рассказал Авдей про своё томление Иванке.

– Тебе надо бы к нам в дружину, мужик ты крепкий и на стрельбу привычный.

– Да примут ли меня? – засомневался Авдей. – Ведь я не владимирский, а это всё-таки княжеская дружина.

– Я пойду к воеводе, расскажу о твоей судьбине, вымолю, – ответил решительно Иванка. – Время теперь тяжёлое, вот-вот татаровье полезет на приступ. Да в дружине не только владимирские. Есть и юрьевские, и муромские, и яропольские.

– С Ярополча? – обрадовался Авдей. – Я ведь сам оттуда взят. Там живёт дядька и брато-чады<sup>8</sup>. Кто таков ярополец-то?

---

<sup>8</sup> Брато-чады – двоюродные братья.

– Да больно-то я не ведаю, – ответил Иванка, – увидишь, так спросишь.

После этого разговора Авдей стал ждать вестей от Иванки о решении его судьбы. А Харитинья одобряла это Авдеево решение идти в дружину, но на сердце у неё было тяжело. Привыкла она к Авдею, сроднилась с ним, а ратное дело – опасное. Дурная стрела – и всё. Что они с Марфой делать будут: одна ногами, другая разумом слаба? Останется тоже погибать. Конечно, есть добрые люди, но сейчас всем до себя. Враги не смогут ворваться во Владимир, но, коли осадят они надолго крепость, трудные времена придут. Кто-то и не доживёт до того времени, как приедет великий князь Юрий Всеволодович с войском и развеет поганую нечисть.

Сказал Авдей о своём желании идти в дружину и Марфе. Та разволновалась, хмурила брови, топала ногами, как будто давила какую-то гадину, и потом обнимала Авдея, и они с Харитиньей решили, что Марфа одобрила его желание.

Как-то зашёл в избу весёлый Иванка с вестью, что был он у воеводы, тот свёл его с княгиней, и та твёрдо обещала, что Авдея примут в дружину. Посулила она обрядить их.

Авдей от радости аж подскочил на лавке и больно ударился о притолоку. Сграбастал он Иванку, и заходили они в обнимку по избе. Но тут на шум из кухоньки выглянула Марфа. Увидела, что они братаются, подскочила к Иванке и замолотила его кулаками по спине с криком:

– Тать! Рязанец! Убирайся!

Все удивились тому, что Марфа неожиданно заговорила, впервые с того вечера в деревне, как узнала, что Настёнка украдена. Авдей подбежал к ней:

– Марфа, Марфа! Ты выздоровела?

Посмотрела жена на него как бы прозревшим взглядом и заплакала. Кинулся к сестре Иванка. Но она отпрянула от него.

– Это он украл нашу Настёнку! Он, проклятый рязанец!

Харитинья:

– Марфа, это твой брат Иванка!

Жена удивлённо посмотрела на Авдея, как будто на сумасшедшего:

– Какой же это Иванка? Иванка маленьким был.

– Марфинька, я вырос! Вот он я какой стал, – потянулся Иванка к Марфе со слезами на глазах.

Отпрыгнула Марфа от него и закричала с отчаяньем:

– Авдей! Он убьёт меня! Он убил моего братца, дочку нашу! Выгони его!

Видя, как взволновалась Марфа, и что она никак не может успокоиться, Иванка накинул шубёнку и молча вышел из избы.

Авдей и Харитинья не знали, что и делать. Радость оттого, что Марфа заговорила, омрачилась, и на душе было тошно и пусто.

А Марфа подошла к двери, послушала и облегчённо выдохнула:

– Слава богу, этот злодей ушёл.

Сколько раз потом Харитинья пыталась говорить с Марфой про Иванку! Она оживлялась, рассказывала, как они с братом в детстве играли, что она любила котят, а Иванка щенков. Харитинья пыталась спрашивать, где теперь Иванка. Марфа хмурилась и резко отвечала:

– Спроси у рязанца, что приходил. Он братца убил.

В остальном Марфа казалась здоровой – и в разговорах, и в делах, и в поступках. Не нападает на неё неожиданный смех. И плачет только, когда пригорюнится, вспоминая дочку. Но лишь стоит показаться Иванке, как опять крик, руки дрожат, глаза навывкат.

Не стал Иванка больше входить в избу, чтобы не расстраивать сестру. А сам переживает – не высказать.

Как-то привёл Авдей плечистого бородатого дружинника. Оказалось, что это его брато-чад Светозар, меньшей сын дядьки. Дядька уже давно умер. Другие Светозаровы братья обза-



велись семьями: кто хлебопашествует, кто в крепости служит. А сам Светозар решил постранствовать подобно Авдею, вот так и во Владимир попал.

Марфа приняла Светозара радушно. Расцеловалась, посадила за стол, выслушала все его речи, рассказала про себя, но ни разу не упомянула про рязанца.

Когда Светозар ушёл, Харитинья спросила Марфу:

– А если бы Иванка вырос и пришёл к тебе?

Марфа задумалась и пожала плечами:

– Ах, если бы Бог сделал это.

– А если бы ты его не узнала? – допытывалась Харитинья, как бы между прочим, похлёбывая щи.

Марфа напряжённо морщила лоб и молчала.

## Воевода Пётр Ослядюкович

Вот уже вторые сутки ни поспать, ни помолиться, ни поесть как следует ему не удаётся. В глазах то чёрные круги, то красные всполохи. Даже засыпается на ходу. Встряхиваешь головой и не поймёшь: что наяву, а что привиделось. Вся жизнь как перевернулась. Кажется, нет разницы между днём и ночью. Беготня, заботы, тревоги. Сумерек и в помине нет. Всюду трещат светочи: и на крепости, и по улицам. Всюду в городе перестук кузнечных молотов. Да и спят-то не по избам, как положено, а прямо на снегу, не боясь ни морозов, ни простуды. Идут по делам и вдруг опускаются наземь, и вот уж храп. Но не долгов сон. Вскакивают и бегут дальше. И никого это не удивляет, как будто так и надо. Это как провалы сознания во время тяжкой болезни. Живёшь и не ведаешь, что неправильно всё.

Невесть откуда налетели бесчисленные отряды поганых. Бывает летом, в ненастье, опустятся серые тучи и крапает дождь день, неделю, две недели. И кажется, что уж и солнце вообще больше на землю не придёт. Так и тут: вначале думалось, что постоят незваные гости денёк-другой перед закрытыми воротами да и уберутся восвояси. Первое время и страху-то не было. Ходили горожане на крепость смотреть тьму-тьмушую и дивоваться. А те и не обращали внимания на любопытных, редко-редко стрела просвистит. По-хозяйски устраивались, раскидывали свои войлочные избы, окружали город. А потом начали вокруг Владимира тын возводить. Валили в лесу деревья и тащили лошадьми к подножью крепости. Перед каждым воротами ставили невиданные сооружения. Вот эта паучья деловитость начинала пугать. Поняли владимирцы, что для пришельцев не диво их мощные стены. Копошились они внизу, как муравьи, но дело своё знали. Тут-то и пошёл по городу переполох, бабьи вопли, беготня, несущаяся. Каких только страстей не услышишь! Прибегали заполошные, кричали, что у Серебряных ворот, мол, чёрная стая галок налетела, а как на землю опустилась, то превратилась во вражеских воинов. Бегают они, размахивают кривыми мечами и всех убивают. Тут приходилось всё бросать, прыгать в возок и мчаться на другой конец города... Конечно же, ничего подобного не случилось, но пущенный слух, как огонь по сухой траве, полз, поджигая всё вокруг, не затопчешь его. Пять ворот во Владимире, и отовсюду тревожные слухи, как холодные ветра, продувают душу.

Сидит Пётр Ослядюкович в думной гриднице. В тусклые окошки уже еле пробивается свет. Дело к вечеру. В углах сгустилась темнота. Дал воевода своему грузному уставшему старому телу покой, короткий, случайный. Сейчас прибегут, позовут, и снова забота какая-нибудь захлестнёт. Ох, тяжело, тяжело! Не молод и на ногу не скор. Хворости одолевают: то сердце защемит, то одышка остановит. Тут уж, коли не присядешь, то падай замертво. Куда уж с шестым-то десятком разворачиваться! А всё один, даже не с кем посоветоваться. В мирное-то время думная гридница всегда была полна бояр, сидят на скамьях, толкаются, не зная, зачем. Жара, духота, брань, крики. Каждый своё кричит, да стараются друг друга переорать. А нынче кто успел – удрал из Владимира, а кто остался – в термах своих попрятались. На совет на аркане

не затащишь. Мол, ты, воевода, отдувайся один. Ну, ладно, оборону он организовал вроде, как всегда. За врагом следят – не обманет. Но только вот такой осады, как сейчас, никогда не было. Обкладывают так, чтоб наверняка. И что за племя такое бесовское! Прислонился воевода седой головой к стене, прикрыл глаза, и провалилось сознание в тёмное забытье.

...Огоньки, огоньки мигают, и всё ближе они и ближе. И вдруг огромная чёрная птица прямо на него опускается. Вместо перьев острые мечи в крыльях. Машет она крыльями по воздуху, и свист от мечей всё громче и страшней. Клюв её превращается в узкую бородку. Над ней открытый кроваво-красный рот, клыки, а глазища пронизывают насквозь. Вот она налетает, толкает. Сейчас мечи вонзятся в тело и всё...

Дёрнувшись, с выкриком воевода открывает глаза. Голова раскалывается от боли. Во всём теле тяжесть пудовая. А перед глазами всё, как в дымке... Слышен чей-то голос, а кто говорит и что – никак не различить. Встряхнул головой Пётр Ослядюкович, провёл ладонью по глазам, будто снимая пелену, и увидел перед собой княжича Мстислава, возбуждённого, с пылающими глазами.

– Что сидим, чего ждём? – ломающимся полумальчишеским, полумужским голосом повторяет он. Недавно, наверное, с год, играл ещё со своим племянником и вот уж жаждет настоящей битвы, гневается.

– Княжич, охолонись, – только и может ответить, придя в себя, воевода. – Бог даст мудрого решения.

Но Мстислав ещё больше взвизгивает:

– Богу-то молельщиков много, а каков прок! Я сейчас от брата Всеволода. Обезумел брат. Хочет в монахи постричься. Я говорю, что поганые у самых стен, а он – на коленях перед иконами. Не тронусь, – молвит, – отсюда никуда. Не враги это, – говорит, – а испытание Господне. Коли они возьмут град, то значит, так Господу угодно.

Да, странное случилось с Всеволодом. Возвратился он с дружиной из-под Коломны, и будто подменили его. Нигде не показывается, а на военном совете сидит, будто и нет его. И это сейчас, когда опасность у ворот. Он – опытный воин. Ходил с дружиной. Были поражения, но были и победы. Дружинники в него верят и уважают за храбрость и мужество. И вот он, Всеволод, в тяжкую для города пору забыл обо всём и молится, спасая свою душу. Да, надо просить Бога о победе и спасении. Но если тебе дано держать в руках меч, то и держи. Вот Мстислав ещё мальчишка, а понимает это, князь же Всеволод забыл о своём предназначении. Ведь за ним ответ перед великим князем Юрием. Встоит град Владимир или сгинет – на совести Всеволодовой. Уехал великий князь на Волгу собирать войско для отпора нехристям. Встревожило его поражение коломенское. Уж больно удачливы враги. Город за городом падает под их ударами. И нет силы, которая бы надолго остановила их. Пора этой силе быть. За Владимир Юрий не тревожится. Крепость могучая. Никто ещё не гулял по его улицам.

– Не можно так, чего мы ждём? – снова взялся за своё Мстислав.

– Княже, – тихо молвил воевода, – взойди на крепость, поганых тьма-тьмушая, дай бог, отсидимся, иного не дано.

– Я не хочу, подобно мыши, прятаться в норе! – гневно крикнул княжич. И его голос был похож на крик молодого петушка, неокрепший, срывающийся. – Надобно послать за ворота отряд!

– Пошто идти на смерть?! – воеводе стало уже злить упрямство и безрассудство княжонка.

– Я сам пойду со товарищи. Надо показать поганым, что мы их не страшимся.

– А мне потом ответ держать за вас перед великим князем? – попробовал последний довод Пётр Ослядюкович. – Вам красивая смерть, а мне гнить до скончания лет в порубе по приказу великокняжескому?

– Я сам себе господин, я княжеского роду! Что хочу, то и буду делать, – в голосе Мстислава слышалась надменность и опять-таки петушиный надрыв.

Не видно было в темноте лица и осанки Мстиславовой, но представлял воевода, что и похож тот сейчас на петушка.

– Охолопись, Мстислав... – только и смог ответить воевода.

Конечно, он понимал княжича. Для него это первая возможность показать себя. Молод, горяч. В его воспалённой голове только обряженные лошади, снаряжение, стук мечей, собственная неуязвимость и паническое бегство врага.

Не он ли, воевода, возбудил в юноше любовь к ратному делу? Ещё дитятей ходил Мстислав за Петром Ослядюковичем следом, и сажал тот его к себе на коня и приказал выковать для княжича маленький меч. Мальчишка очень гордился своим оружием, всюду ходил с ним. Играл с боярскими детьми в битвы. Пугал дворню, когда с гиком и присвистами нападали они на развешанное сушиться бельё. Мечом рубил верёвки и топтал упавшие наземь мокрые порты и рубахи, представлял, будто это поверженные враги. Не его ли, Мстислава, воевода учил, что надо не ожидать, когда враг нападёт, а нужно застать его врасплох? И вот теперь, когда и сила у княжича в руках, и враг, вон он, за воротами – теперь говорит совсем иное. Но разве всё на свете предугадаешь? Что сказать? Как оправдаться? Но не будет слушать Мстислав никаких оправданий. Стремительно повернулся, обиженный, и выскочил за дверь.

Душно и тошно. Вышел Пётр Ослядюкович вслед за Мстиславом. В сенях опухло холодным воздухом. Дремота ушла, как и не бывало. Только вот ноги тяжелы. Да из души сквознячок не выветрил предчувствие беды. А она как будто и ожидала помина. Наверху, на крепостной стене, как будто разом все ахнули, и вслед за этим последовали бабий крик, стоны рыдания. За последнее время Пётр Ослядюкович привык ко всему этому, но то, что случилось сейчас, наверное, очень страшно. Он остановил бежавшую навстречу девку, княгинину служанку:

– Что?! Что там?!

А служанка рыдала и не могла слова вымолвить, закрывая ладонями скривившийся рот. Воевода тряхнул её и гневно выкрикнул:

– Что содеялось? Говори!

– Там... там... – девка задыхалась и хватала ртом воздух, – там княжич Владимир...

Пётр Ослядюкович не верил своим ушам. Сейчас всяко может случиться, ко всему надо быть готовым. Но причём тут княжич Владимир? Он был в Москве. А уж Москва давно пала. Как княжич за столько вёрст может оказаться в столице? А если он появился, чего ж тут реветь?

Он отпустил девку и побежал к Золотым воротам. Ни сердца не чуял, ни одышки. Уж как, не знает, одним духом одолел винтовую лестницу и оказался наверху, на стене. Все, кто здесь был, затаив дыхание, замерли и смотрели вниз в поле, где скучились на конях татары. А между ними, спутанный верёвками, стоял юный княжич Владимир. Сверху не было ясно видно его лица, но обличье и стать были Владимировы. Он стоял босой. На нём не было ни шубы, ни шапки. Только рубаха и белые порты. Он стоял и, подняв голову, смотрел на владимирские стены, на осаждённых, на Золотые ворота – на всё это родное и любимое. Смотрел и улыбался. А татары что-то кричали, указывая плётками то на него, то на осаждённых. Сколько времени прошло, уж и не чуял воевода. Он только не мог отвести глаза от этого зрелища. Затем татары подъезжали и избивали княжича плётками. А он всё равно стоял и смотрел на родной город. Потом повернулся к Золотым воротам, опустился на колени и перекрестился, глядя на крест надвратной церкви. Тут татары завизжали, у кого-то из них в руках сверкнула сабля, и... голова княжича упала на снег, который тотчас же покраснел от крови. Безголовое тело качнулось и рухнуло. Всё это произошло так быстро, что казалось неправдоподобным.

Всё кругом наполнилось ещё большим стоном и плачем. Казалось, что весь город оплакивает юного княжича. Как же это страшно! Мгновенье назад стоял он живой, окидывая взгля-

дом родной город, а теперь его нет. Уж к чему-чему, а к этому воеводе вроде не привыкать. Видел много смертей, и самому приходилось убивать. Но это в схватке, в бою, когда не видишь ничего вокруг, не осознаёшь. Только сверкают мечи, и голова полна задора. А тут... Тяжело смотреть на Агафью Всеволодовну. Ведь в мыслях давно, может быть, похоронила сына, почти смирилась, и вдруг увидела, как бы воскресшим из мёртвых. Как в страшном сне всё. Но не плачет княгиня, смотрит на белый платочек в руке:

– Он же белый, смотрите, белый! Жив Володюшка! Жив!

Она растерянно оглядывает всех, плачущих и стонающих:

– Зачем вы так? Не умер княжич, не умер! Просто упал, споткнулся!

А воеводу толкает в бок запыхавшийся, растерянный дружинник:

– Мстислав с дружиной в поле выехали из Золотых ворот.

Воевода – к заборулу<sup>9</sup>. И точно. Скачет на коне в развевающемся красном княжеском плаще Мстислав с небольшим отрядом. Размахивают дружинники саблями, гикают. А у воеводы сердце захолонуло, дыхание остановилось. Ведь на гибель неминуемую спешат. Заглатывает их в себя огромная копошащаяся вражеская толпа. Вот проглотила, и как будто не было ни Мстислава, ни его товарищей. А на стене опять сумятица, плач. Последней каплей, что переполнила терпение Мстислава, была смерть брата перед воротами на глазах всего люда. Не выдержал княжич. И грех был бы его останавливать, подумал воевода... Да и было бы странным, если бы Мстислав равнодушно взирал на коварство поганых и если бы не распалилось его княжеское сердце. Одна кровь текла в жилах Владимира и Мстислава. И были почти ровесники, вот только разными стремлениями обуяны. Мало воевода знал Владимира, и не только оттого, что давно отвезли его в Москву, а оттого, что всегда сидел он за книгами и не влекло его, в отличие от Мстислава, военное искусство. Но вот уже обоих нет на белом свете. А Агафья Всеволодовна ещё не осознала этого до конца, всё комкает в руках белый платочек, но уже ничего не говорит. Застыла, будто бы в ожидании ещё чего-то.

Бог послал княгине страшные испытания. Третий её сын Всеволод оказался в чистом поле, беззащитным, вне стен города. Он неторопливо шёл в белой рубаше с крестом в вытянутой руке. Один-единёшенек без надежды на спасение. Татары окружили его. Шли рядом, не решаясь рубить. Воевода слышал, что уважают они русского бога и священнослужителей с крестами не трогают. Боятся, что рассердится русский бог и покарает их за дерзость. Сверкал ярко-золотой крест в руках Всеволода и охранял его жизнь. Шёл молодой князь, не ведая куда и зачем. И всё-таки взял кто-то на свою душу грех, отпустил тугую тетиву... Пошатнулся Всеволод, выронил из рук крест, и больше владимирцы не видели князя.

## Авдей

Как так получилось, что он остался живым, не понимает Авдей. Кто упал, пронзённый вражьей стрелой, как Иванка, кто сгорел в храме, как княгиня. Да и самого города Владимира почти что нет. Зола летит вокруг вперемешку со снегом. Дома сгорели. Только высятся обожжённые почерневшие храмы, да Золотые ворота стоят непобеждённым великаном. Вместе со Светозаром лезли они во все опасные места.

Много горя навалилось в эти три дня на Авдея. И особенно тяжело было, когда прибежала, едва найдя его, растрёпанная, обезумевшая Харитинья в обгоревшей одежде и, бросившись к его ногам, завопила, что Марфа сгорела вместе с домом. Понял Авдей, что не для кого теперь жить и что надо умереть, побольше уложив мерзких врагов, которые разбили всю его спокойную размеренную жизнь, превратив её в непрерывную цепь потерь и страданий. Он не помнил себя, им овладела слепая охотничья жажда выискивать и убивать, и убивать. Если он

---

<sup>9</sup> Заборол – древнерусское название крепостного бруствера.

не доставал мечом до жертвы, натягивал лук, и стрела точно ложилась в мишень. Он даже не метился. Он замечал краем глаз басурманина, руки молниеносно вкладывали стрелу и... Всё было отработано за много лет охотничьей жизни.

Рядом с Авдеем бился Светозар. Они старались быть вместе. Много раз Светозар спасал Авдея от вражеского удара, но сам не сохранился. Авдей очнулся от забытья боя, когда услышал, как вскрикнул и застонал браточад, навзничь падая на землю... Бросился Авдей к нему: неужто последняя родная душа покинула его! Нет, жив Светозар, но только парит на морозе большая рубленая рана на боку, и кровь вытекает, смешиваясь с грязным затоптанным снегом. Сбросил Авдей тулуп, сорвал с себя рубаху и даже не почувствовав холода, надел тулуп на голое тело. Разорвал рубаху, замотал рану, чтобы кровь не выходила, и поволок его в сторону, отбиваясь по пути от наседавших с саблями монголов. Хотелось ему, чтоб остался жив Светозар, чтоб не затоптали его вражеские сапоги, чтобы не издевались над ним, беспомощным, враги и чтоб, если бы ему и пришлось умереть, то скончался бы он тихо и спокойно. Затащил Авдей раненого за какой-то полусгоревший дом, присел рядом передохнуть. Закрыв на мгновение глаза: ведь он не спал уж трое суток, и сознание его провалилось в какую-то чёрную яму.

Когда он очнулся, кругом стояла тишина. Это его поразило. Сколько времени прошло, он не ведал. Было светло. Светило даже солнце, весёлое и слепящее. Авдей наклонился к браточаду. Светозар был мёртв. Рот его приоткрылся. Широко раскрытые глаза тусклы. Авдей встал на колени, перекрестился и хрипло произнёс: «Господи, упокой душу усопшего новопреставленного раба Твоего Светозара». От выступивших слёз свет преломился, и солнце разлетелось на тысячу маленьких солнц. Авдей зарыдал. Рыдания сотрясли его, как колотун. Он оплакивал всю свою разнесчастную судьбу, и ему всё яснее становилось, что оставаться теперь живым совершенно незачем. Он опёрся о свой меч, встал и поплёлся туда, где ждали его враги. Но как ни бродил он среди сгоревших домов, между крепостных руин, никто ему не повстречался. Авдей ничего не понимал. Что случилось за то время, когда он спал? Или, может быть, он сам умер и попал в царство мёртвых? Но почему же все мертвы, а он один живой? Почему ни одного живого человека, пусть даже врага, нет в этом мёртвом городе? Тихо и страшно. Неужто он так долго спал, что за это время кончился бой и враги ушли? Сколько он спал: день, два, три – как теперь узнаешь? Хотел он похоронить Светозара, но ходил и не смог найти тот полуразрушенный дом, за которым навек успокоился браточад. Всё кругом было порушено, и повсюду лежали тела убитых. Измучился Авдей, присел у какого-то пепелища, у тлеющих ещё углей. Из последних сил притащил он к пепелищу досок, сухих веток и разжёг костерок.

– Господи, помоги, не остави... – бормотал он, держа над костром руки, и чувствовал, как тепло пробирается во все члены. Какая-то чёрненькая собачонка, скуля и озираясь на него, подбиралась к костру.

– Иди, иди, погрейся, сердешная, не бойся.

Значит, не один день проспал он, если за это время всё успело сгореть, что даже собака не может найти себе огня в сгоревшем городе, чтобы погреться. Или, может быть, она ищет живых людей, не понимая того, почему кругом всё вымерло? Город, где было столько народа, столько домов, столько запахов, теперь пахнет острой гарью и смертью. Это собаке было непонятно. Да что собака? Непонятно было и Авдею, почему Бог допустил до такого разора. Хуже этого быть не может. Что это за племя такое монгольское? Быстрые и многочисленные, как муравьи, разорили и тут же пропали, как будто их и не бывало. Цветущий огромный город в несколько дней превратился в кладбище. Откуда же у них такая сила великая? И почему православный Бог не помешал разбою? Или, может быть, прав был князь Всеволод? Говорили, что он после того, как Авдей видел его молящимся в своей избе, приехавши во Владимир, отказался брать в руки оружие, говоря, что не надо противиться Божьему наказанию. Ведь истинно это вражеское нашествие – что-то сверхъестественное. Никогда ещё Авдей не видел, чтобы так можно

всё разорить. Да солнце-то что же такое весёлое и яркое? Лучше бы снег пошёл и скрыл под собой всё это обгорелое, мёртвое.

Согрелся Авдей, и тоскливо ему стало, одному-одинёшенькому, и как вот этому бездомному псу, захотелось прибиться куда-то к живым людям. Не может же быть, чтобы все были мертвы. Вот ведь он живой, значит, ещё есть где-то уцелевшие. Может быть, прячутся, может, тоже ищут кого-нибудь? Он встал и тихонько побрёл. Собачонка тоже вскочила на ноги, встряхнулась и засеменила за Авдеем. Шёл Авдей и склонялся к мёртвым телам: вдруг среди них окажутся раненные. Но живых не было, и чем больше он ходил, тем тревожнее и тяжелее было на душе от чего-то необъяснимого. И догадка пришла, и от неё сердце заколотилось, и во рту стало сухо. Сколько он ни ходил – нигде не было ни одного вражеского трупа. Что такое? Ведь он сам, своими руками и мечом, уничтожил не один десяток монголов. Куда они девались? Растаяли, что ли? Ведь они были! Были! Это он точно знал. Упрямо шёл всё вперёд в надежде найти хоть одно вражье тело, но тщетно.

Вдруг он явственно услышал голоса. Встал, прислушался – сердце захолонуло от радости. Быстрее выскочил из переулка. Около обгоревшего дома возилось несколько человек: женщины, мужчины и подросток. Они лопатами рыли яму. Авдей, задыхаясь, добежал до них и стал обнимать каждого, приговаривая:

– Вы живые! Вы живые!

Они его тоже обнимали. Женщины причитали. Ни одного знакомого не было среди этих людей, и всё-таки они были ближе, чем самые близкие друзья. Все владимирцы-мужчины так же, как и Авдей, остались в живых после сражения, а женщины и дети вылезли из щелей, куда попрятались. Тех, кто не успел надёжно схорониться, монголы увели в полон. А всех мужчин добили. Своих же погибших они собрали и сожгли у стен крепости.

Как ни устали оставшиеся в живых владимирцы, но надо было предать земле тела павших. Это было святое дело. Авдей попросил себе лопату и тоже принялся за работу. Тела складывали в могилу рядами и засыпали землёй. Не осталось в живых ни одного батюшки, некому было даже отпеть умерших. Прежде чем засыпать, могильщики крестились и бормотали молитвы, кто какие знал. Если кто-то обнаруживал тела родственников, то он хоронил их отдельно, и женщины взахлёб причитали над свежими могилами. Авдей так и не нашёл ни Светозара, ни Иванку. Он хоронил чужих, а кто-то схоронил его близких.

А солнце продолжало так же ярко и весело светить, и это казалось кошунством, потому что над пепелищем и мёртвой землёй должен бы идти долгий серый снег с дождём, который бы оплакивал всех убитых, да и живых, потерявших все надежды на радость. Но ни одного облачка на голубом небе.

Хоронили до самых сумерек. Уставший, еле державшийся на ногах Авдей притулился рядом с другими у костра. Он был уже в полузабытье, когда кто-то его растолкал, и он услышал знакомый детский голосок, который бы узнал среди тысячи голосов. У него замерло сердце.

– Дядечка, похлебайте-ка щец.

Само собой в ответ на этот голос вырвалось:

– Спасибо, Настёнка.

Авдей ещё ничего не успел осознать, но сердце его уже почуяло великую радость и забило бешено и сладко. Девчонка взвизгнула и, выронив посудину со щами, бросилась с воплем к Авдею:

– Тятенька, милый тятенька!

Она обняла его за шею и боялась отпустить, потому что вдруг всё пропадёт и окажется или сном, или видением. Авдей тоже крепко держал дочку и боялся того же самого. Но время текло, и они оба поняли, что случилось это наяву. Никуда не растает, не исчезнет. Когда они расстались, все беды для них только начались, а кончатся ли они теперь, бог его знает.

## Часть 2

### Овдотья

Овдотья днями и ночами слышала за окнами своей избёнки завывание ветра. За всю свою одинокую жизнь она привыкла слышать это завывание. Но теперь ещё горше и надсаднее отзывалось оно в сердце. После проезда через деревню разбитого князя Всеволода и после слухов о наступающих врагах все соседи потихоньку оставили избы, уехали под защиту стен Владимира. Больно уж страшны были рассказы о зверствах поганых. Впервые опустела деревня. Конечно, ей тоже боязно. Особенно оттого, что осталась одна-одинёшенька.

Каждый день бродила между брошенных изб, а их всё больше и больше засыпало снегом, и она чувствовала себя, как на кладбище.

А куда ехать? Кому она там во Владимире нужна? Шабров-то теперь, чай, и не отыщешь в огромном городе. Ни к кому не прибилась вовремя, чего уж теперь. А уж как Авдей упрашивал, умолял ехать с ними.

Всхлипнула Овдотья, горький ком подступил к горлу. Но это не оттого, что локотки кусать приходится. Вспомнила она Авдеевы глаза – горе застыло в них, да и не мудрено. Тот день, когда пропала Настёнка и Авдей пришёл из леса без неё, не может Овдотья вспоминать без слёз. Метался он по всей деревне, стоная и рыдая. Овдотья боялась: с ума бы мужик не сошёл. Отпаивала его успокоительными снадобьями, чтобы горе не так сильно терзало сердце. Да и Марфин приезд всё стерегла, чтобы не враз обрушилось на неё горе. Да не устерегла. Кто-то опередил, всё выложил. Вбежала она в Овдотьеву избу, простоволосая, с безумными глазами. Язык у ней отнялся. Мычала что-то, вытаращив зрачки, и руками размахивала. Никак не могла её Овдотья успокоить. Авдей с женой первыми ушли из деревни.

– Не могу в доме жить, всё о Настёнке напоминает!

Согласилась с ним Овдотья. Да и Марфа ни днём, ни ночью не спит, а всё ходит по дому, ищет дочку. Рвётся из избы идти, тоже вроде искать.

Да что толку в поисках? Несколько раз ходил Авдей с мужиками в лес. Коли бы она заблудилась, был бы прок в поисках, а ведь в полон враги увели.

– Пойдём во Владимир с нами, – умолял Авдей Овдотью. – Иванку там найдём, он поможет.

Но не пошла Овдотья, хотя всё-таки надо было идти. Вот и осталась одна. А ведь они, Марфа и Авдей, были как родные. Другие-то соседи уж не приглашали с собой, хотя все любили её и уважали, но шли-то сами в неизвестность. Кому старуха в обузу нужна?

Так потихоньку и дожидая, когда последняя семья погрузила на повозку свои пожитки и тоже отправилась в путь. Зашли к Овдотье попрощаться и тоже советовали уезжать. Ничего им не сказала она, только обняла со слезами да перекрестила. На чём ей ехать-то? Лошади у ней нет. Да и какая разница, где помирать. Годков-то в избытке. Немного, поди, теперь-то отмерено. А коль пожить ещё нужно, проживёт до весны. А потом до лета. Много ей не надо. Лепёшечку с водицей на день и хватит.

Да потом и попривыкла. Потянулись дни и ночи, друг на друга похожие. Не успеет развиднётся, глядь, а уж вскоре и смеркается. А ночи зимние долгие, конца-края не видать. Уж больно одиночество-то томило. Раньше к Марфе сходит и побает да на дочку её полюбуется, и сердце отмякнет. Вот ведь за всю жизнь не пришлось Овдотье семьёй обзавестись. И прошла жизнь, как день красный, наступили сумерки, и осталась она перед ночью тёмной одна-одинёшенька. Вот ведь помрёт, и некому обмыть тело, некому во гроб будет по-христиански положить. Вот ведь до чего дожить пришлось.

А метель всё воет и воет за окнами. Прилегла старуха на лавку, подоткнула под голову шобонья. Уснуть бы, да вот сон-то не идёт. Думка всё одна в голове, и воспоминания всё те же. Порой они плавно переходят в сон. Тогда глаза затуманиваются, и образы принимают почти что явственные черты, кажется, будто разговариваешь с кем-то. И живой человеческий голос радует сердце. И как будто бы всё, как раньше...

Уж сколько всяких вражых набегов пережито за целую-то жизнь! Но поболят-поболят раны да и затягиваются. А тут...

Но вот однажды показались ей среди воя вечерней пурги вроде человечьи голоса да конское ржание. Вначале отмахнулась: что ни причудится в одиночестве-то. А сама всё же прислушивалась, уж больно хотелось, чтобы и впрямь кто-то посетил её, забытую и заброшенную. Чтобы поговорить с кем-либо. А ведь и точно кто-то по деревне разъезжает. Набросила Овдотьа зипунишко да и в дверь выглянула. На воле-то пурга уж приутихла, и видит, от избы к избе пяток всадников катят. Да уж от её избы-то отъехали. Собралась она с силушкой и крикнула:

– Эй, люди добрые-е!

Если бы пурга не кончилась, потонул бы в круговерти её слабый голос. А тут крайний всадник оглянулся и что-то крикнул передним, и они быстро повернули назад, покрикивая и взвизгивая. Вот ближе и ближе они в ещё незагустелых сумерках, и поняла тут Овдотьа, что дала маху. Не наши это были всадники, не русские. Захлопнула было старуха дверь, заметалась по избе. А куда схоронишься, найдут всё равно.

Дверь нараспашку, и с клубами пара ввалились в избу, принеся с собой какой-то чужой запах, пришлые. Один подскочил к ней, захохотал, приседая и передразнивая её: «Эй!» Но это у него тоже выходило по-чужому гортанно. Другой подошёл сзади, содрал с Овдотьи зипун, плат с головы и стал внимательно рассматривать всё это. Остальные уже шарили по углам. Овдотьа с места не могла сдвинуться от страха и только бормотала:

– Господи Боже, спаси, помоги...

Тому, кто стоял перед ней, видимо, безразличны были вещи. Ему нравилось потешаться над старухой. Он приседал, хлопал руками по своим ляжкам и продолжал передразнивать:

– Паси, паси, моги, моги...

Набравши незамысловатого Овдотьино барахла, они начали тараторить на своём языке, показывая на старуху, видимо, решая её судьбу. А тот, что дразнил Овдотью, с хохотом проводил ладонью по горлу, давая понять Овдотье, что они её убьют.

Ну что ж, подумала она, прими, Господи, душу мою, может быть, это и к лучшему. Но тут один из монголов обнаружил кладовку, где у Овдотьи хранились травы, снадобья, настойки, показал всё это своим товарищам, и они ещё громче залопотали. Травы пробовали на зуб, открывали посудины и нюхали содержимое. Потом всё это бережно собрали в мешочек. Тот, что потешался над старухой, велел ей вместе с ними выходить из избы.

Наверное, на улице убивать будут, подумала Овдотьа, а уж лучше бы здесь. И она решительно села на лавку, мол, тут кончайте.

Тот, кто дразнил, взвизгнул уже от ярости, вытащил из-за голенища плётку, ударил Овдотью несколько раз по лицу и, крича, начал выталкивать её на улицу. Задохнувшись от боли, она выполнила его требование и поплелась. А он орал и толкал её коленкой и руками в спину.

Они затащили Овдотью на лошадиную холку и прикрутили её ремнями. Овдотьины ноги свешивались с одной стороны, а голова с другой. Монгол запрыгнул на эту лошадь, огрел её плеткой, и она потряслась, вскидывая Овдотью вверх-вниз. От этой тряски резкая боль вступила в спинной хребет, и Овдотьа лишилась памяти. Уж невзвидела она, сколько времени прошло. Очнулась оттого, что кто-то хлестал её по щекам. Пахло дымом, и всё кругом было в каком-то сизом мареве. Напротив неё сидела на корточках узкоглазая бабёнка, растрёпанная, красная. Она-то и была усердно Овдотью и ещё брызгала на неё водой. Овдотьа поняла, что находится в каком-то жилище, а вот в каком, никак разглядеть не могла. Увидев, что русская



очнулась, узкоглазая баба перестала хлестать её по щекам, а взвизгнула и закричала, будто кого-то подзывая:

– Жебэ! Жебэ!

Тут же рядом с ней оказался мужик, вроде не так уж и старый, но лицо жёлтое, морщинистое. Он, вытаращив глаза, уставился на Овдотью. Ломая язык, заговорил на каком-то подобии русской речи:

– Ты должен благодарно Бату, любит Бату и говорит правда.

Овдотья не понимала, что этот похожий на жёлтую жабу человек хочет от неё. Спина её всё ещё болела, щёки горели от пощёчин. Что за любовь требуют от неё, что за правду? Она было прикрыла глаза, но жаба стал бить её по лицу.

– Отвяжись от меня, окаянный! – разозлилась Овдотья и оттолкнула его. Монгол завизжал и начал плёткой охаживать русскую.

– Чего тебе от меня надо, сыть ты поганая?! – закричала Овдотья, закрываясь рукой от плётки.

– Ты любит Бату! Служит Бату!

– Старая для любви-то! Да и не нужен ты мне, лягушка ненавистная!

– Я Джубе! Бату велел сказать, кто ты такой. Ты умеешь колдовать, заговаривать? Да!

Тут Овдотья решила его напугать, чтобы отвязался. Она свела брови, сжала губы и со злобным лицом протянула руку к монголу:

– Могу колдовать! Могу! Захочу и заколдую тебя, превращу в лягушку!

Монгол в страхе взвизгнул, отпрянул от неё.

– Вот визглячее племя. Чуть что, визжат, – пробормотала она.

Монгол оправился от первого страха и тоже захотел напугать русскую:

– Бату велик! Он царь всех колдунов. Бату захотел, и ты целовал его туфель.

– Да наплевала! – Овдотья подумала, что не надо им поддаваться. – Провались ты со своим патом<sup>10</sup>!

– Бату сделай тебе вжик-вжик! – монгол быстро провёл ладонью по горлу. – И сталух ушла в сарство тени.

– Уж один хотел убить, да не вышло! – Овдотья остервенело плюнула. – Провались ты на месте, ирод.

Плевок этот попал монголу на туфлю. Тот опять взвизгнул, как-то отчаянно и дребезжаще, скинул обувь с ноги и бросил прямо в костёр, горевший посередине этого странного жилища. Овдотья усмехнулась – струсил пакостник – и почувствовала себя легко и спокойно.

А монгол уже боялся снова пускать в ход плетёнку... Испуганно жалась к костру и узкоглазая баба. Он вдруг изменился. Лицо стало приторным, глаза превратились совсем в щёлочки.

– Джубе не хотел селдить сталух, Джубе хотел говолить. У Бату много колдунов и шаманов. Сталух может быть главной колдуньей у туфли Бату.

– Да насрала я на его туфлю! – Овдотья решила не отступать, хотя страх до конца не ушёл из её сердца.

– Сталух – плохой колдунья! – закричал опять монгол, выпучив от гнева глаза, но в то же время опасливо отодвигаясь от Овдотьи. – Бату сделай свободно сталух, если помозес. Бату холосый!

Лицо Джубе снова стало приторным.

Овдотья поняла, что Бату их начальник, и ему что-то нужно от неё. Хотя что она могла сделать, пока трудно понять.

– Коли у твоего пата много колдунов, пошто я-то надобна? – спросила она.

Джубе, видя, что старуха больше не сердится, снова пододвинулся к ней:

---

<sup>10</sup> Пат – искажённое от Бату. Простонародное собирательное название монгольских воевод.

– Бату самый великий царь и колдун.

– Ну, так тем боле.

– Бату пока непослусны луские духи, но он их поколит, ты должен помось.

Хотела Овдотья сказать, что никаких духов не знает и что один Господь только властен над всеми, но подумала пока переждать с таким признанием и только с загадочной улыбкой молчала. А монгол продолжал её уговаривать:

– Ты стальной сталух. Бату сделает тебя молодой, и кто-нибудь возьмёт тебя в жёны. Бату всё мозет.

Овдотья рассмеялась, ей даже захотелось пошутить:

– А уж не ты ли возьмёшь меня в жёны, сморчок поганый!

Последних слов Джубе не понял и гордо взглянул на Овдотью:

– У Джубе будет много всяких богатств: и коней, и рабов, и жён, и много воинов. Джубе тоже станет коназом!

Его тощая шея выглядывала из-под сального грязного халата. Ему очень хотелось верить, что всё это у него будет. Долгое время после того, как московский княжич Владимир чуть не сбежал из-под пригляда Джубе, и за то, что не выведал у мальчишки тайный ход в ульдемирскую крепость, Бату не пускал старика под свои светлые очи. Да и сам Джубе прятался: ему не хотелось, чтобы хан вспоминал о нём, потому что ничего доброго его не ожидало. Но, слава богу Сульдэ, Ульдемир взят, и много-много богатств пополнило ханскую казну. Только вот не по душе было Бату, что ульдемирский князь Юрий улизнул от плена.

Много русских воевод и бояр пытал Бату. Джубе тоже пытал, и вот один толстый боярин из военного Юрьева совета, не выдержав боли, признался ему, что великий князь уехал ещё раньше в Ярославль и там будет собирать войско на помощь Ульдемиру. Обрадовался Джубе таким сведениям и понял, что его солнце опять вернулось на небо. Он притащил боярина к хану и бросил к его ногам.

Смилостивился Бату к Джубе и дал ему задание. Поведали хану его шаманы, что есть среди русских такие сильные колдуны, которые могут даже на далёкое расстояние заколдовать кого-либо и заставить его сделать всё что захочешь. Только для этого надо иметь вещь, которую постоянно носил тот человек, и рад был этому Бату и разгневался одновременно, почему раньше не сказали шаманы до осады Ульдемира: где теперь найти вещи князя. Вся добыча ульдемирская смешалась. Где тут княжеские вещи, разве разберёшь. В гнев казнил Бату для острастки пару шаманов. А Джубе хан велел найти такого колдуна или колдунью из русских, чтобы можно было заставить князя покорно прийти в плен без войска и сдаться. А для того, чтобы разыскать какую-нибудь княжескую вещь, допустил его в походное хранилище добычи. Это Джубе очень понравилось. Много попрятал всякой мелочи по карманам, пригодится.

В одном мече пленник-боярин признал княжескую вещь. Правда, Джубе не совсем ему поверил, слишком уж торопливо (лишь бы не пытали) показал он на этот меч, в страхе прикрыв глаза. Принёс Джубе этот меч великому хану. Тот осмотрел его, поцокал языком и сказал, что если этот меч не поможет приворожить князя Юрия, то Бату собственноручно отрубит им голову Джубе.

Теперь нужно было искать или колдуна, или колдунью. Джубе велел всем разведчикам высматривать в русских селениях таких людей. А узнать их можно по снадобьям и травам, которые у них хранятся. И вот вчера приволокли ему эту старуху. Растрёпанная, тощая, страшная. Джубе сразу понял, что это то, что надо. А увидев её непокорность, убедился в этом ещё более. А уж когда она плюнула на его туфлю, глаза её сверкали от ярости, он решил, что колдунья она очень сильная. И хорошо, что вовремя сжёг обувь, а то бы она его обязательно испортила. Злить её не надо, и в этом случае нужна не плётка, а ласка. Конечно, ей должно понравиться, что Бату делает её молодой, ну а если она Джубе придётся по сердцу, отчего же не

взять её в жёны, хотя иметь жену-колдунью дело опасное. И он снова взялся её уговаривать. Её помощь должна быть добровольной: ведь только тогда всё получится.

– Ты должен послушна Бату. Пресветлый хан будет говорить с тобой. Ты будь покорна воли Бату.

– Пошто я надобна твоему пату? – недоумевала Овдотья.

– Пресветлый хан будет говолить, а ты будес отвечать много-много, – затараторил с ещё большей пылкостью Джубе, видя, что старуха успокоилась и не противится их разговору.

Джубе понимал, что сразу тащить колдунью к хану нельзя, пока она ещё озлоблена. Вдруг плюнет на хана, как на него, Джубе. Тогда конец и старухе, да и ему самому не поздоровится. Хан может в гневе отрубить и его голову. Поэтому злить её не следует. А надо и накормить её досыта, и пообещать хорошую жизнь, если она поможет хану приворожить князя Юрия. Сам говорить об этом старухе он пока не решился. Вдруг сразу откажется, а потом и заупрямится? Это у русских в крови. Но как только Бату взглянет на неё своими проницательными глазами, так сразу она окажется в его власти. Но на всякий случай по пути к ханской юрте её надо провести между двух костров. После этого она временно потеряет свою колдовскую силу. А это поможет пресветлому покорить её.

Овдотье было непонятно, для чего держат её у поганных. Она уже примирилась с тем, что жизнь подошла к краю и вот-вот выволокут её из этого пропахшего дымом и кожей странного жилища и убьют. Но вот прошло два дня, однако ничего плохого не происходит. Наоборот, узкоглазая баба улыбается ей, скаля зубы, кланяется, когда подаёт блюдо с едой. А на блюде всегда жирное духовитое мясо, какого она давно не едала. И ещё поят её каким-то странным молоком, вроде не коровьим и не козьим. Но оно вкусное. Когда она спросила у монгола Джубе, что это за молоко, и тот ответил, что кобылье, Овдотью чуть не вырвало. Про мясо спрашивать и не стала: вдруг тоже что-нибудь эдакое... А что-то ведь есть надо. Путной еды у этих нехристей, видимо, не имеется.

Однажды Джубе пришёл весёлый и даже приодетый. Вместо вонючей овчинной шубейки и лоснящегося от жира халата под ней на нём красовалась богатая шуба, чуть ли не княжеские сапоги и такая же шапка. Стащил где-нибудь в разорённом Владимире, с болью в сердце подумала Овдотья, а то и с убитого боярина снял. За Джубе с торжественным видом шествовала баба-монголка и несла какую-то одежду. Джубе взял из рук бабы эту одежду и протянул Овдотье:

– Ты должен одетой! Ты должен рада. Бату будет проверить твой колдовство. Пресветлый хосет милость тебе. Ты должен селовать туфли Бату и быть покорна.

– Да что пату твоему надобно от меня, не уразумею я никак, скажи ты мне на милость.

Овдотья разглядывала одежду. Всё было чистое из богатых тканей. И снова Овдотьино сердце сжалось. Тоже, поди, с кого-то сняли, вражины. А монгол продолжал напевать:

– Ты должен одевать эта одезда и послушна быть голосу пресветлого хана. Бату хотел видеть твоё лицо. Ты должен показать хану, что ты умеи в колдовстве.

Овдотья усмехнулась:

– А твой пат не опасается, что я превращу его в лягушку?

У Джубе от гнева глаза чуть не выскочили из орбит. Он хватал ртом воздух. Выхватил свою плётку и несколько раз со свистом ударил по земляному полу. Бить старуху не решился: и боязно, да и жалко шубу, которую придётся сжигать, если вдруг эта дурная баба плюнет на неё.

– Я сказу Бату твой делзость. Бату не будет имел милость. Пресветлый хан велик. Твой колдовство не стластно ему. Ты сам сталух длязы и бойся. Бату – бог на земле. Только Сульдэ его сильнее.

Призакрыла Овдотья глаза. Что же ей делать? Идти или не идти к этому пату, которого так расхваливает монгол? Всё равно ведь силой притащат, если уж этот хан захотел. Да и не

красна девица она, что ей опасаться. Всё равно, где умирать. Зато уж посмотрит этого пата да проклянет его на прощание, для их же страха. Пусть думают, что она колдунья. И стала Овдотья одеваться, успокоив этим Джубе.

Когда она подходила к огромной белой юрте, поняла, что в ней и сидит их главный монгольский князь. Джубе и сопровождающие её два воина с мечами зачем-то заставили её пройти несколько раз между двух огромных костров и лишь тогда подвели к входу в белую юрту.

Наверху на шесте трепетал флаг с жёлтым змием. У входа стояли два воина с мечами наголо. Джубе нырнул внутрь юрты, приподняв полог двери. Вскоре он вынырнул назад и стал нащёптывать Овдотье:

– Самый светлый и великий из всех коназов приказал вводить тебя, сталух. Бату не любит нехолодых слов и плевков. Нукеры Бату будут изрубить тебя мелко-мелко и кидать собакам.

Входить в эту дверь было неудобно. Овдотья приподняла войлочный полог и на четвереньках пролезла в юрту. Тут было тепло и светло от большого костра и светочей. Все сидящие на больших коврах были богато одеты. Все их взоры были обращены к монголу, сидящему на красиво отделанной низкой скамейке, не старому, в огромных пузырчатых штанах, в красных туфлях. На голове у него была круглая шапочка ярко-жёлтого цвета. Бородёнка, как у всех монголов, реденькая, почти у подбородка сходящая на нет. Около него больше, чем у других, стояло воинов со щитами и мечами, готовых в любой миг прикрыть хозяина.

Наверное, это и есть тот самый пат, подумала Овдотья. Он что-то гортанно крикнул, указав на неё.

– Чего надоть? – спросила она, не поняв его и пытаясь приподняться на ноги. Но ей этого не дали. Наоборот, повалили на ковёр под ногами и прижали её лбом к полу. Продержав так немного, отпустили. И тут она над ухом услышала чистую русскую речь:

– Пресветлый спрашивает, кто ты такая, старуха?

Она приподняла голову и увидела тоже богато одетого мужчину без оружия, но ликом русского, с длинными волосами.

– Да Овдотьей кличут с рождения.

Русский перевёл ответ хану.

– Говорят, ты большая колдунья?

Овдотье не хотелось врать своему, и она простодушно ответила:

– Да кака колдунья? Лекарка я. Травы собирала, настойки от разных хворей делала, натирания всякие, шабловов своих пользовала.

Переводчик был хмур, смотрел на неё без любопытства и участия.

– Ты должна говорить правду. Пресветлый хан не любит, когда ему лгут.

– Чего им надо-то, мил человек. Вот Жаба говорил, что этот пат сам колдун из колдунов, – Овдотья оглянулась, думая увидеть старика-монгола, но его не было в юрте. А русский переводчик вдруг упал на колени и приложился лбом к ковру:

– Да, великий Бату всё может. Он бог на земле, величайший из величайших!

Это поразило Овдотью:

– Ты чего перед басурманином лоб-то бьёшь? Чай сам-то православный? Бог-то один в небесах. Чего поганина-то хвалишь?

Переводчик пересказал это хану. Тот взвизгнул и что-то прокричал, потрясая рукой. Русский опять отрешённо взглянул на Овдотью:

– Если ты будешь так говорить в присутствии величайшего, то тебя посадят задом на раскалённую сковороду.

– Ох ты, батюшки! – испуганно вскричала старуха. – Я же тебе это сказала не для передачи.

Но переводчик, как бы не слыша её, требовательно прокричал:

– Признавайся, ты колдунья?!

– Да чего я могу-то? Ну боль заговорить, ну сон нагнать, и всего-то.

Длинноволосый перевёл это. Хан оживился и что-то приказал стоящим с ним рядом слугам. Один из них принёс накрытый тканью поднос, на котором бугрилось что-то подобное нескольким тыквам. Переводчик снял с подноса ткань, и Овдотья закричала от ужаса. У неё аж в глазах потемнело. На подносе лежали три отрубленные мужские головы, а одна среди них юношеская, почти мальчишеская. Они были связаны просунутой сквозь уши верёвкой.

Переводчик без сострадания, спокойно продолжал говорить, как будто ударял по Овдотье палкой:

– Это сыновья владимирского князя Юрия Всеволод, Мстислав и Владимир. И в этом ожерелье не хватает главной головы, самого князя Юрия. Ты должна помочь и заставить князя Юрия прийти и сдаться без боя, заколдовав его на расстоянии. Вот тогда-то ожерелье будет полное...

И переводчик усмехнулся. Овдотью всю передёрнуло. Она плюнула длинноволосому прямо в лицо:

– Иуда ты поганый. Ты хуже этих басурманских жаб! Чтоб земля тебя поглотила!

И старуха кинулась к переводчику, чтобы выдрать ему бесстыжие глаза. Но в это время кто-то саблей плашмя ударил её по голове, и она упала, оглушённая.

## Князь Юрий Всеволодович

Беспокойные ночи у князя в последнее время. Да и как же иначе? Днём ещё можно взять себя в руки, а вот по ночам одолевают его страшные видения. Мучает его призрак чернеца, которого казнили по его, князя, скоропалительному приказу в тот последний день, когда он уезжал из Владимира. Упрёки чернеца продолжали терзать княжеское сердце, что, мол, конец земле русской приходит и всему его княжескому семени. И не спрятаться во сне от выпученных кроваво-красных белков, от дикой ухмылки чернеца. От этих видений кровь стучит в висках, порой кажется, что голова вот-вот разорвётся. В груди сдавливают, и не может князь отдышаться. Нет, чернец! Нет, проклятый! Пока стоит Владимир-крепость, и Русь жива, и всё семейство его ждёт своего господина. А Владимир никакая ещё вражья сила не брала: крепки стены, надёжны ворота, глубоки рвы. Попробуй сунься! Да если бы он не был уверен в неприступности крепости, разве бы он уехал собирать силы на сторону? Да и сыновья в силе: и Всеволод, и Мстислав. Воевода опытный – Пётр Ослядюкович. Советовали Юрию жену, дочь, внуков, снох спрятать в далёких монастырях, чтобы в случае чего остались они живы. Усмехнулся тогда князь: да Владимир надёжней любых тридевятих земель, чего же тут мудрствовать-то.

Тревожны слухи – видели татарей уж у Переславля да под Ростовом Великим. Ну и что с того? Обошли поганые неприступные твердыни владимирские, ищут орехи податливые да слабые. Для того и стал Юрий Всеволодович на берегу реки Сить, собирает войско, чтобы разбить незваного неприятеля. Вскоре стянут свои войска братья Святослав и Ярослав, сын-вещ Василько Ростовский. Сила великая будет в руках князя. И, наконец-то покончив с этими нехристями, можно победно вернуться в столицу через парадные Золотые ворота, выставив на пике башку хана татарского Бату, осенёнными великокняжеским стягом со Спасом Нерукотворным. Сейчас он развешивается над избой, где остановился князь. Местные плотники скатали новый бревенчатый дом под княжеское временное пристанище. Не в палатке же обитать и не в слепых мужицких избах! Дух победный должен быть крепок и начинаться с малого. А так всё тут попросту: лавки по четырём стенам, на них спит Юрий и сидит. Тут же собирается военный совет. Тут и стол, за которым Юрий обедает. Да больше ничего и нет. Конечно, обязателен киот с иконам: молится князь искренне, произносит каждое слово молитвы трепетно и с верой. Услышит Господь его и даст победу русскому оружию. А для этого надо братьям его забыть и непонимание, и обиды, учинённые друг другу. Ведь жизнь была большая, и всякое случалось,

особенно в те времена, когда делили они между собой города и власть стольную. Обижал и он, Юрий, и его обижали. Умолять надо Господа об утолении этого внутреннего пожара обид и неприязней. Ведь у всех кровь одна, и перед опасностью все должны стоять вместе. А врага нечестивого надо прогнать, чтобы не топтался он между городов русских, ожидая слабину. Ведь вот Коломну-то сожгли, проклятые, говорят, и Москве та же участь была...

Прикрыл князь глаза и горестно вздохнул. Ничего не слышно про сына Владимира из Москвы. Сгиб ли? Спасся ли?

Шумно дыша, вбежал дружинник:

– Княже, Василько приехал с объезда!

– Зови, зови его, – встрепенулся Юрий Всеволодович и стряхнул с себя горестные думы.

– Дядюшка! Не гоже у нас получается! – сразу заговорил Василько, широким шагом войдя в гридницу.

– Что стряслось?

– Да больно уж редки и малочисленны станы наши стоят. Кучно сейчас нужно быть!

– Вот подойдёт Ярослав со своими людьми – там разберёмся.

– Да не видно что-то дяди Ярослава, а Дорож с разведчиками, ты ведь ведаешь, докладывают, что подтягиваются татаре.

Юрия Всеволодовича раздражала настойчивость племянника, хотя он понимал, что Василько прав, но не хотелось верить, что поганые уже рядом, как будто по пятам идут.

– Верно, разведчики это, что пугаться-то!

– Коли так, слава бы богу, – коротко молвил Василько и быстро вышел прочь из гридницы. Обиделся, зная, то-то губы сжал в полосочку, а ноздри вверх взметнулись, отметил Юрий Всеволодович. Ну да ничего, предводитель должен быть один. А Васильку следовало только доложить об обстановке, а не делать какие-то выводы и словно бы тыкать его, великого князя, носом в нечистоты. Не любит он этого. Выводы предводитель будет делать сам. Да, конечно, надо бы встать общим станом, сгрудиться. Об этом Юрий думал. Но вот не получается. Несколько прибрежных деревенок, а между ними чистое поле, обдуваемое всеми ветрами. В одной деревеньке он, в другой брат Святослав со своей дворней. А Ярослав придёт, тоже наособицу захочет. Чтобы всех собрать на совет, так надо в разные стороны посыльных отправлять. Всё, как и раньше: всяк в своём уголке сидит и в свою дуду дудит. Уж сколько лет минуло со дня прихода Юрия на великокняжеский стол, но не могут братья до конца примириться с этим. Ярослав, когда сговаривались соединить здесь всё войско для разгрома поганых, обронил непонимающе: «Уж отсиделись бы». Не понимая, что больше пёкса великий князь о малых городах, о слабых орешках, которые Бату разгрызает без труда. Уж Рязань на что была мощна, а вот поди ж ты! Да теперь-то уж они и сами поняли. Юрий встревожился после взятия Коломны – отсидки тут не годны.

Неприятеля надо заманить и на открытом поле разгромить. А тут без большой силы никак не обойтись. А силы-то этой накопить пока не удаётся. Главное, Ярослав подошёл бы вовремя. Вот тогда бы битва получилась славная. А ещё он велел сыновьям Всеволоду и Мстиславу, как уйдут татары от Владимира несолоно хлебавши, пойти след в след за погаными с владимирским войском. Будут наступать неприятелю на пятки. Так что окружение получится полное и окончательное.

Да разве впервой для ушей великого князя победное русское ура! От приятных раздумий князя Юрия отвлёк голос слуги. Его лицо было испуганным и взволнованным:

– Княже... из Владимира... вестник!

– Где он? Где же?... – нетерпеливо вскочил Юрий со скамьи, вглядываясь в проём двери. Вошёл мужик в изодранной одежде, заросший бородой, нечёсанный, с воспалёнными глазами. Он перекрестился на иконы, затем поклонился князю.

А тот подскочил к вошедшему:

– Ну что? Как там во Владимире? Говори! Воевода или княгинюшка письмецо прислали? Давай его сюда! – и Юрий Всеволодович нетерпеливо протянул руку.

Но мужик некоторое время стоял, переминаясь с ноги на ногу, мучаясь от неведомой боли, не зная, как выговорить те слова, которые приготовил.

У князя в груди закипал гнев:

– Кто таков? Говори! – нахмурил он брови.

– Авдей я, охотник.

– Что ж посыльным притворяешься? – рыкнул снова Юрий.

– Не посыльный я! Из Владимира иду к твоей милости.

– Ну! – княжеский голос набирал крутизну, чтобы обрушиться на виноватого всей своей мощью.

– Княже... – мужик прикрыл глаза, и по его щекам прямо в бороду покатались слёзы. – Нету более Владимира... сожгли его поганые...

Юрию Всеволодовичу показалось, что этот плюгавый мужик ударил его со всего размаха по щеке. Он отшатнулся и вскрикнул:

– Как ты смеешь, погань!

Он схватил мужика за плечи и затряс, будто бы вытрясая его из лохмотьев. На мгновение ему показалось, что это тот же казнённый наглый чернец с его ехидной улыбкой, только меняющий, как сатана, своё обличье. Мужик захрипел в безжалостных руках князя. Ноги его подкосились, и он выскользнул на пол.

– Убрать! Убрать! – закричал князь, отшатнувшись от упавшего тела.

В гридницу на крик сбежались дружинники.

– Запереть! – указал князь на лежащего мужика и, задыхаясь от гнева, добавил. – Я допрос ему учиню... потом.

Появился испуганный Василько Константинович, забыв обиду:

– Чего содеялось-то?

Тяжело дыша, Юрий Всеволодович показывал глазами на мужика, которого охранники волоком тащили прочь.

– Эта подосланная тварь посмела сказать мне, что татары сожгли Владимир!

Василько, потупясь, стоял и молчал. Князю было странно, почему тот не возмутился и даже не удивился.

– Я пытками к вечеру выведаю у этого холопа правду. Он мне поведаёт, кто подослал его! – гнев продолжал клекотать в княжеской груди.

– Княже, – дрогнувшим голосом промолвил Василько, – посланник этот, пожалуй, правду молвит.

– Какую правду? – Юрий Всеволодович похолодел. – Или ты ума лишился?

– Вот уже с неделю слухи по всем деревням идут. Только никто точно не знает. Кто что говорит.

– Почему я об этом ничего не ведаю?

– А что докладывать-то, слухи они и есть слухи, – Василько горько вздохнул. – А этот мужик пришёл из самого Владимира. Он стоял на защите крепости. Он всё своими очами видел.

У Юрия Всеволодовича заходили желваки:

– Что же воевода и сыновья никаких вестей не шлют? Почему нет княгинино посланника? Я что, должен верить какому-то грязному мужику? – великий князь снова стал закипать от гнева.

Василько потерянно потупил взор. Князь тяжело сел на скамью, прислонился затылком к прохладной бревенчатой стене и прикрыл веками глаза. Немного помолчал, отходя от волнения, и устало промолвил, обращаясь к Василько:

– Дай знать воеводам и князьям, чтоб на совет собирались. А пока оставь меня.

Василько вышел. А Юрий Всеволодович никак не мог успокоиться. Нет, конечно же, он не поверил мужику, что стольный Владимир-град мог так быстро сдаться врагам. Об этом князь не мог предполагать даже в грустных размышлениях, которые порой накатывались на него. Только одно из двух: или мужик подосланный, или же всё это снится ему в самом дурном сне, и надо всего лишь только проснуться...

А слухи, о которых говорит Василько, это вздор – всегда, когда люди чего-то страшатся, по устам ходят разные выдумки. Но почему ж так долго нет вестей ни от Агафьи, ни от Петра Ослядюковича, ни от сыновей? Просто разом погибнуть они не могли. Разгадка-то как раз в том, что обложили басурмане крепость так, что никто и выбраться не может.

Мужика этого пытаться и пытаться надо, он признается, что врёт. А потом казнить у всех на виду, в устрашение.

Князь Юрий обхватил голову руками. Казнить-то он казнит. Но что от этого изменится? Много было за всю его жизнь казнено людишек. Облегчило ли это душу? Вот чернец до сих пор к нему является и мучает, мучает... Если бы всё только зависело от его княжьей воли, но всё зависит от провидения Господня. Князь повернулся к иконам, перекрестился:

– Господи, не дай свершиться самому худшему. Дай силы и разума мне, Господи!

Он опустился на колени. Негоже перед ликами молиться сидя. Как можно просить что-то у Бога, не предав себя смирению? А уметь усмирять свою гордыню, размышлял князь, надо и перед людьми. Но как научиться этому, чтобы люди не обознались, не приняли это за слабость и сломленность? Он, великий князь, должен стоять над всеми. Может быть, то, что предопределено простым людям, на него не распространяется? Ну, попробуй ослабь вожжи: тот же Василько, сын Константина, возгордится и начнёт думать о каких-то своих правах. А уж что говорить о братьях Святославе и Ярославле? Ведь лет двадцать назад после смерти их отца ввергли они, братья, в страшную междоусобицу Русь. На всём небольшом пространстве между Ростовом, Владимиром, Костромой лилась рекой кровь, стонали стоном люди русские. То он, то Константин брали верх поочерёдно и садились на стол княжить, а братья перемётывались то к одному, то к другому, как им было выгодно. Русь, как смертельно раненный зверь, изнемогала в истоме и зывала о пощаде.

А теперь её мучает враг, неведомо откуда взявшийся. И вот перед лицом его надо бы забыть обо всех обидах и подозрениях, да не получается. Если представить на мгновение, что прав мужик, и сожгли татары Владимир, то кто тогда он, Юрий, без стольного града? Куда же идти ему? Опять в Городец, куда Константин загонял его после первого сражения? А такого конца братья, может быть, и ждут. Вот Ярослав давно уж должен быть здесь со своими полками, а от него ни слуху ни духу нет. Выжидает, что ли? Конечно, кем для братьев будет Юрий, если Владимир сожжён, а все люди побиты? Кто будет разговаривать с князем, у которого ничего нет. Перенесут стол в Ростов Великий, как когда-то хотел Константин, а его, Юрия, и спрашивать никто не станет.

Застонал от досады князь и стукнул по столу кулаком. Подсвечник со свечой повалился, пламя затрепыхалось, и воск с перевёрнутой свечи закапал на пол. Юрий взял свечу в руку, но вместо того, чтобы поставить её назад, смял её, мягкую, горячую, в кулаке и комок швырнул в угол.

Нет, надо успокоиться, не так-то всё просто. Если татары смогут взять Владимир, то уж Ростов и остальные города для них будут лёгкой добычей. Об этом же должен задумываться Ярослав, если он держит своё войско в потайке, где-нибудь в ближних лесах, не собираясь вступать в совместную драку... А вдруг он сговорился с татарами?

Вошёл княжеский слуга Ослядок и поставил молча на стол еду. Но Юрию Всеволодовичу совсем не хотелось есть, и он, как бы не замечая посуды, спросил слугу:

– Явился кто на совет?



Ослядок зажёл на столе потухшие свечи и кивнул:

– Да, княже.

– Зови.

Слуга скрылся в дверях, и вскоре в гридницу стали заходить, внося свежий морозный дух, люди. Они рассаживались на скамьи молча, зная, что Юрий Всеволодович не в духе. Только слышались скрип и стук сапог, чьё-то сопение и покашливание. Неподдалече сел и брат, князь Святослав, уже немолодой, хотя и без единой седины в бороде. От рождения Святослав был тихим незлобивым человеком и особенно-то, не чета Ярославу, не рвался к большой власти. Сидел в своём Юрьеве-Польском тихохонько и уже не вступал ни в какие сговоры. Тут же самостоятельный Василько Константинович. Рядом воеводы костромские, угличские, мышкинские, кнатынские, глава сторожевого полка Дорофей Семёнович.

Все расселись и ждали слова Юрьева. А он никак не мог сосредоточиться с чего бы начать:

– Вы, верно, ведаете, что пущен слух, будто поганые сожгли Володимир. Истинно это или ложь, я пока не знаю. Слишком тверда для каких-то степняков крепость володимирская. Да и войско я там оставил сильное, про это было столько раз говорено...

По гриднице прошёл шелест приглушённых голосов. Кто-то не знал про эти слухи, кто-то ведал.

– Да пришёл ко мне якобы из Владимира некий мужик и поведал о сожжении крепости. Я учиню подробный допрос этому нечестивцу, и он мне всё выложит.

Василько Константинович привстал:

– Великий княже, а не лучше ли выслушать его на совете? Возможно, в его словах имеется некая истина.

Заходили желваки у Юрия Всеволодовича. Опять Василько лезет вперёд. Из молодых да ранний.

– Истину у этого мужика я познаю сам. К тому же, ты видел, в каком он состоянии. Ему ещё в себя прийти надо.

В гриднице повисла гнетущая тишина.

– Нам же надобно готовиться к большой битве, независимо от того, жив ли Володимир-град или нет. Поганые слетаются сюда, яко вороны, и нет вестей ни от Ярослава, ни от моих сыновей. Если они не помогут, то войскам туго, очень туго придётся. Не кучно стоим мы. Разрежут нас враги и перебыют поодиночке, пора, пора сбиваться.

Юрий Всеволодович повернулся к главе сторожевого полка Дорофею Семёновичу:

– Какие твои новости?

Тот прокашлялся и забасил:

– Ничего нового не поведаю, княже, пока малыми отрядами кружат поганые близ деревень, главные силы, видать, не подошли.

– Коли подойдут, не поздно ли будет? – сдерживая гнев, спросил ядовито князь. – Не пора ли твоим сторожевым подальше пойти да познать, где главные-то силы, далече ли они? Али побаиваетесь?

Лицо Дорофея Семёновича побагровело, губы дрогнули:

– Княже, для дальней разведки и народу-то поболее надо, а у меня-то их... – он махнул рукой.

– Так возьми народцу-то, возьми. Без разведки слепы мы. Бери самых шустрых, да чтоб кони под ними свежие да быстрые были!

Дорофей Семёнович расплылся в довольной улыбке:

– Это дело!

– Иди, поспеши, не рассиживайся. Сейчас самая твоя пора. Победа наша в твоих руках. Застанут нас врасплох, яко курей лиса, гибель наша будет. Я так чаю: из каждого отряда выделяют тебе воев.

Юрий Всеволодович прошёлся по лицам сидящих за столом. Все согласно закивали головами.

– Ну и ладно, – великий князь немного помолчал, удивляясь общему согласию. Обычно обязательно находился кто-то, кто возражал. Пусть даже по такому мелкому поводу, что и сейчас. А нынешний совет какой-то тихий. Неужто из-за слухов о гибели стольного града? Ведь там осталась вся семья Юрьева. Сочувствуют.

– Что, нешто никаких более вопросов не имеете? Ведь с завтрашнего дня повелеваю скучиться всем в этой деревне, где моё пристанище!

– А где воев размещать? Где припасы брать? – сразу же загалдели за столом. Вопросы сыпались, страсти рвались, как пар из кипящего котелка.

– Где? – усмехнулся князь, – Будто внове вам дело ратное. Где по избам располагайтесь. Где палатки ставьте. Где костры разжигайте. Ненадолго ожидание-то. Не заставят себя поганые ждать. Скоро явятся. Не о себе пекусь. Не себя хочу заградить вашими щитами да мечами, а чтоб не достались вы лёгкой добычей врагу. Об этом же уведоьте Ярослава, как он явится сюда, и иных прочих.

– А не захопнут нас тут всех в ловушке, не окружат? – взял слово Святослав.

– Так для этого и пекусь я о разведке, нешто не ясно? – раздражённо сжал губы Юрий. – Как сторожевые сообщат нам о вражьем приближении, так и поведение сменим сразу же.

– Что же, всё ясно, княже, – отозвался Василько, – к чему разговоры говорить, надо дело делать.

– Ну коли всем всё ясно, совет закрываю! – поднялся Юрий Всеволодович, и за ним все остальные. Когда разговоры и шаги утихли за дверями, великий князь позвал слугу Ослядока:

– Как там мужичок-то, оклемался?

– Да, княже.

– Вели привести его. Выпытывать буду всю истину.

– Что, и Кашея позвать?

– Ладно уж, пока и без Кашея обойдёмся, а там видно будет. Спервоначалу с глаза на глаз поговорю.

Юрий Всеволодович везде возил с собой пыточных дел мастера Кашея. Тот одним своим видом наводил ужас: глаза навывкате, нос плоский, как будто его и вовсе нет. Дыхание смрадное. Огромные красные заросшие волосом лапищи. Как начнёт выкручивать суставы у жертв – улыбается. Но преданный, как собака. В бою князь держит его рядом. Мечом он владеет искусно. И как только успевает на коне вокруг виться, князь диву даётся. Но ни разу не был ранен Юрий, даже и задет с тех пор, как завёл Кашея.

Постукивая сапогами, дружинники ввели мужичка. Тот пошатывался, ещё, видимо, не отошёл от княжеской хватки. Его посадили на скамью. Он сидел с опущенной головой.

– Ну что, холоп, кто тебя подослал? – приступил князь к допросу.

– Не холоп я вовсе, – вымолвил тот. – Вольный человек и по вольному хотению пришёл к тебе.

– И пошто же ты ко мне явился? – усмехнулся князь. – По вольному-то своему хотению.

– Поведать, как люди твои храбро бились насмерть, – снова тихо промолвил мужик, не поднимая глаз на князя.

– Ах вон как! Ты думаешь, без тебя мне некому об этом поведать?

– Может быть, и некому... – бесстрашие в голосе мужика поразило князя.

– Нешто ты мнишь, что из всего Владимира ты один остался в живых?

– Почему же, остались живые.

– И что же они молчат? Меня, что ли, опасаются?

– За других я не смею говорить.

– А ты один такой бесстрашный да совестливый? – снова ярость стала закипать в княжеском сердце. – А сам и глаза страшишься поднять. А если я тебя на дыбу, да заплечных дел мастер распрямит тебя как следует. Что на это скажешь?

Мужик долго не отвечал, а потом поднял воспалённые красные глаза и снова тихо промолвил:

– Княже, а что это переменит?

Юрия Всеволодовича всего передёрнуло. Ему вновь привиделось, что заглянули в него безжалостные глаза чернеца того, владимирского.

Взвился князь от боли, схватился за голову и побежал в другой конец гридницы, чтобы спрятаться, чтобы не видеть. Услышал голос мужика:

– Княже, прости за мою дерзость, не держи сердца. Всем ныне трудно, всем.

От этих слов откатилась волна раздражения в Юрии Всеволодовиче, как-то ещё неосознанно показалось ему, что не посланный мужик, но признаться в этом противилось всё его естество. Ведь если мужик прав, то значит погиб град Владимир. Но этого не может быть! Если он поверит мужику, то предаст город.

Князь несколько раз прошёл в душевном оцепенении от стены к стене, сел подле мужика на лавку:

– Я не могу верить тебе, пока собственными очами не увижу то, что ты мне поведал. Ты тоже бился на стенах Владимира?

– Да! Я потерял там жену, браточада и шурина... – глаза у мужика были наполнены слезами.

Нет, нельзя так притвориться. Если бы он был подосланным, то он бы по-другому вёл себя. Валялся бы в ногах, уговаривая поверить. А этому и самому не хочется верить в то, что он произносит.

– А что ты знаешь о моей семье? – с опаской услышать страшное и потому с некоторой робостью спросил князь.

– Я не ведаю, где они сейчас. Только видел собственными глазами, как погиб твой сын Владимир.

– Владимир? – у князя глаза полезли на лоб, и задрожал от обиды и гнева подбородок. – Вот ты сам себя и выдал, тать! Владимир не мог быть в городе. Он в Москве был!

– Княже, не гневайся, а послушай меня. Владимир сгиб не в крепости. Татары привели его, яко зверя в верёвках, к Золотым воротам ещё перед приступом, дабы устроить нас, и тут же убили его.

– Значит, он был в плену? – выдохнул с отчаяньем князь.

– Истинно так. Моя дочка Настёнка тоже была украдена погаными и в плену встретила с твоим сыном, ухаживала за ним.

– Какая дочка?... Когда ухаживала? – князь слушал рассеянно. Он был поражён вестью о гибели сына. Слова цеплялись одно за одним, потом распадались, но не связывались в общую цепь. И уже, не слушая мужика, он встал перед ним, заглядывая пристально в глаза, надеясь, что они уж не обманут.

– А про других что ведаешь? Про княгиню?..

– Не знаю, – Авдею был тяжёл этот пронизывающий взгляд князя, но он не отвёл глаза, – я слышал только, что князь Мстислав со своими воями из Золотых ворот... прямо в гущу врагов...

– Ну и!.. – вскричал Юрий Всеволодович.

Авдей отвёл глаза:

– Поганых было тьма-тьмушая...

Князю стало очень душно в гриднице. Он выскочил из неё. Вслед за ним с шубой и шапкой вылетел Ослядок. Но он не чувствовал холода, не видел снега. Он только чувствовал, что на него накатывается огромная волна чего-то страшного, становится всё больше и больше и вот-вот поглотит его. Кругом толпились испуганные люди, ржали кони, трещали костры. А вверху – огромное бескрайнее небо, а за рекой Ситью такие же бескрайние заснеженные леса. От всего этого князь впадал в неизбывную тоску. Может быть, зря он ушёл из Владимира? Может быть, он похож на зайца, за которым гонится охотник и вот-вот настигнет.

Впервые за всю свою ратную жизнь почувствовал он себя незащищённым и одиноким, хотя кругом было много вооружённых дружинников. Когда во время грозы молния с треском ударяет где-то поблизости, сердце сжимается в ужасе. Некуда спрятаться, некуда бежать, всюду она достанет, если захочет. Вот такое же чувство было сейчас у Юрия. Если вдруг всю его семью поубивали враги, то для чего же ему жить на свете? Какой из него великий князь, когда у него, может быть, нет преемника на княжество из сыновей и даже из внуков? И если он победит и останется жив, разбив вражескую погань, что за жизнь одному?

– Что содеялось, великий князь? – послышался знакомый голос, и он увидел перед собой воеводу Жирослава Михайловича, небольшого роста крепкого коренастого мужчину. Он стоял в шубе нараспашку и испуганно смотрел на князя. Этот вопрос заставил Юрия Всеволодовича резко остановиться, сжать кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Нет, нельзя так распускать свои чувства на людях, нельзя. В доме, где никто не видит, это ещё куда ни шло. А на глазах всего войска... Да пока ещё ничего и не известно. Ну Владимир!.. Ну Мстислав!.. А он всё ещё великий князь. И впереди у него битва, которую надо выиграть.

– Я ищу тебя, воевода! – вырвались из уст первые попавшиеся слова.

– Меня? – непонимающе промолвил Жирослав Михайлович. – Да я никуда далече и не отлучался.

– Надобно послать кого-либо ко граду Владимиру, разведать, что там и как там.

Воевода понял, что всё это сказано от отчаяния и безысходности. Что толку посылать во Владимир кого-то: и не успеют обратно да и не проберутся, коли вокруг кишмя кишит татарская разведка. Но воевода почтительно кивнул Юрию Всеволодовичу в знак согласия и отошёл. А князь надел как следует накиннутую Ослядоком шубу, прошёлся от костра к костру, где устраивались воины, натягивая палатки из телячьих шкур, таская к кострам сучья и дрова. Только тут он услышал, что кругом гомонят люди. Кто-то кого-то зовёт, кто-то ругается. Стук топоров, топот и ржанье коней – в общем, обычная жизнь перед битвой. Это его успокоило малость.

Тут он заметил, что за ним ходит какая-то маленькая девочка в платке, в шубейке, в сапожонках. Это выбивалось из обычной военной жизни. Он приостановился и вопросительно взглянул на неё. А она, как будто и ожидала этого, с плачем кинулась к его ногам:

– Дяденька князь, пожалей меня!

Все её тело сотрясало в рыданиях, а Юрий Всеволодович поднял девочку за плечи, заглянул ей в глаза, залитые слезами:

– Девонька, что содеялось у тебя?

– Христа ради, пожалей! – продолжала она рыдать.

– Да поведай мне своё горе, – погладил он её широкой ладонью по волосам, выбившимся из-под платка.

– Отпусти моего тятеньку, ради Христа, не мучь его.

Князь нахмурился, не понимая, в чём дело:

– Кто ты? Чья ты, девонька? Кто твой отец?

– Настёнка я, Авдеева дочь. Мы с тятенькой только намеренно пришли из Владимира. Тятенька сразу пошёл к тебе рассказать, что тати пожгли Владимир. Ведь я с тятенькой недавно встренулась. Была я украдена татями. А маменька-то у меня в Володимире сгорела. Я её так

и не видела. А сам-то тятенька раненый. Уж и куда я без него пойду-то? Пожалей ты меня, сиротинушку! – и она снова бросилась к княжьим ногам. – Ведь я твоего сына в полоне у татарей выхаживала, поила его, кормила.

## Иванка

Куда идти, он точно не знал. Места незнакомые, неизведанные.

Хотя зимой всё одинаково: куда ни пойдешь – везде снег и снег. По проезжим дорогам идти опасно. Уж и так несколько раз напарывался на татарских всадников. Где тут же прятался, а где, когда уж явно не скрыться, работал мечом своим одной рукой. Шуйцы не было, вместо неё обрубок выше бывшего локтя. Хорошо хоть цела десница. Крепко он ей держал меч. Да и помогала ему злость великая. Когда рубил, ничего вокруг не видел, только слышал кости у врагов: хрясь-хрясь, да предсмертные стоны, да ржанье лошадей. Порубает, страх на врагов наведёт да тут же уходит, уныривает в лес или в заросли. А иначе ему нельзя. Везёт Иванка письмо важное. От княгини Агафьи Всеволодовны её мужу Юрию Всеволодовичу, великому князю владимирскому. А где его искать, и сам не знает. Говорили люди, что он, видимо, в Ростове Великом находится, а кто-то баял, что нет его там. Как бы то ни было, держит путь Иванка в ростовскую сторону. А там видно будет. К холоду и к голоду привык мужик, главное – выполнить поручение. Уж той, кто послал письмо, в живых нет. Но душа, наверное, где-то рядом обретается да хранит Иванку от всяких бед и несчастий. Иначе давно бы сгинул – то ли от вражьего меча, то ли замёрз бы в чистом поле. Потому и не принадлежит он себе и не думает о своём животе. Только одно: идти да идти. А что ему о себе думать? Для кого жить? Всех его близких погубил татаровин. И в Рязани вся семья пала. Нашёл под Владимиром сестру свою Марфу с мужем Авдеем да с их дочкой Настёнкой. Настёнку враги украли, в плен увели. Авдей погиб на улицах Владимира во время сражений, сестра Марфинька сгорела в избе. Да сошедши с ума после пропажи дочери, не узнавала его, Ивана. Так и сгорела, не признавши брата. Вот такая судьба выпала Иванке. Так что ничего его уже не грело в этой жизни. Да уж и не знает, как после сечи владимирской, после приступа татарами крепости и жив-то остался. Истекал кровью, лежа среди таких же, как он, порубанных. Рядом кто-то уж и дух испустил, кто-то стонал, умоляя Господа прервать жизнь. Всё это он слышал между мгновениями забыв-тия, которые длились, может быть, и часами. А видеть он ничего не видел – кровь залила глаза да и запеклась, видимо. Тогда же он думал, что и глаза вытекли вместе с кровью. Не чувствовал Иванка ни мороза, ни голода. И, наверное, так бы и погасла жизнь его, а она на волоске и висела. Да, видно, свет не без добрых людей, и не всё ещё Иванка сделал на белом свете, чтобы уходить. Почувствовал он, как-то придя в сознание, что несут его куда-то, и слова слышал русские. А когда в следующий раз очнулся, и свет в глазах увидел, и над собой знакомое лицо. Ба, да это Харитинья, у которой жили Марфа с Авдеем.

– Где я? – заморгал Иванка часто-часто глазами, как бы проверяя, не сон ли это.

– Лежи, лежи, Ванюша, – погладила его по голове, как маленького, Харитинья, а сама всхлипнула от радости и вытерла тыльной стороной ладони слёзы. – Главное дело – живой. Мово сына тоже Ванюшкой звали. Такой же вот нынче был бы...

Хотел Иванка улыбнуться да не смог, сказал только:

– А у меня вот мамоньки давно уж нет. Будь ею, Харитинья!

Всхлипнула ещё раз старуха, кивнула головой и вздохнула:

– Вот и Авдей, царство ему небесное, тоже маменькой просил быть. Да больно уж быстро вы меня, сыночки, покидаете, не успеешь привыкнуть.

– Ну, уж я надолго.

– Гоже было бы так-то.

Обрадовался Иванка, что целы у него глаза, только вот рука усечена. Дёрнул на всякий случай ногами.

– Да на месте, на месте, – улыбнулась сквозь слёзы Харитинья, – а тут много и совсем безногих и безруких.

Приподнял Иванка, напрягшись, голову, покрутил ею туда-сюда, и силы оставили его, упала голова, как безжизненная. Какое-то подвальное помещение. Тусклые огоньки трещащих лучин. Вокруг слышны стоны раненых и женские тихие голоса.

– Уж я так была рада, что отыскала тебя. Боле никого не смогла, – опять вздохнула Харитинья.

Иванкино сердце резануло болью:

– Мне Авдей сказывал перед тем, как я его потерял, что Марфа...

Он не договорил, горло перехватило. Закрыла Харитинья руками своё лицо, покачала головою:

– Не уберегла я сердешную. Да и как уберечь было? Подпалили злодеи избёнку мою. Еле выскочила я. А Марфа там осталась. Одно, дай бы Бог, что долго не мучилась.

От слабости да от горести опять провалился Иванка куда-то в темноту да в немоту. А теперь, как ни просыпался он, перед ним стояло всегда заботливое морщинистое лицо Харитиньи.

– Когда же ты спишь, маменька? – изумлённо спрашивал он её.

– Ох, милоч мой, уж за всю-то жисть, поди, и выспалась. Одна-то жила, спала да спала.

Но пришло время, когда почувствовал Иванка себя покрепче. Стал уж и вставать, и помогать как мог Харитинье ухаживать за ранеными. Она да ещё несколько женщин и подростков жили прямо здесь. Некуда было идти, у всех дома сгорели. А тут и вместе все, и дело божеское делают. Вначале не понимал Иванка: что же в подвале душном ютятся. А уж потом, как ходить стал, вышел на волю, а кругом одни пепелища да развалины. И над их подвалом такой же разрушенный дом: не то боярский, не то купеческий. Помогать-то Иванка помогал, но особо-то одной рукой не разделаешься. Просилась в любое дело несуществующая рука. А больше всего удивлялся он тому, что даже болела она в тех местах, где уже ничего не было: то ли в пясти, то ли в локте. Но всё равно и водицы принесёт, и дровец поколет, и тех, кто сам не может, поворачивать поможет: ведь десница-то сильная.

И вот однажды один раненый, за которым ухаживала Харитинья и про которого она говорила Иванке, что не жилец он на свете, позвал его к себе. Бледное измождённое лицо, глаза впалые, волосы на голове и в бороде слиплись от пота. Тяжело дыша и взяв слабой рукой Иванкову руку, он промолвил:

– Что, паря, ты делать-то думаешь теперча?

– Да сам ещё не ведаю.

– Знаю, что служил ты в княжьей дружине, послужить бы ещё надобно.

– Да где она, дружина-то? – горько выдохнул Иванка. – Всех порубили татаре.

– Ан не всех, ты-то жив. Последнюю службу надо послужить княгине Агафье Всеволодовне, царство ей небесное.

Слышал Иванка, что погибла княгиня лютой смертью. Как и сестра его Марфа, погибла в огне со всей своей семьёй в Успенском соборе.

– Для княгини всё сделаю! – загорелись его глаза. – Добрая она ко мне была, щедрая!

Разве забудешь, как помогла Агафья Всеволодовна и Иванке и Авдею, как смотрела участливо на его рваную одежду и как по её приказу выдали и ему и Авдею новую одежду и обувь.

– Ну, так слушай, – произнёс, прикрыв глаза от слабости, больной. – Когда ворвались татаре в город и когда закрылась княгиня Агафья в соборе, написала она письмо великому князю Юрию и велела отвезти ему и поведать, что случилось со стольным градом. Ранили меня,

и не смогу я выполнить её приказание. Чувствую, что дышит мне в лицо смертушка. Узнал я, Иванка, твою судьбу, знаю о твоих потерях. По твоим шрамам вижу, что закалённый ты воин и что можно на тебя положиться.

Последние слова раненый произнёс совсем тихо. Какое-то время молчал, собираясь с силами.

– Возьми у меня письмо... оно в сумке... Прошу, Богом молю, отнеси к князю. К Ростову Великому он поехал войска собирать...

Понял Иванка, что раздумывать тут долго нечего. Нашёл письмо, пожал раненому на прощание руку, расцеловал плачущую Харитинью, улыбнулся на её горькие слова:

– А баял, что надолго останешься.

\* \* \*

Три ночи и два дня уже идёт Иванка в неведомое, а по пути ни одного целого городишки, ни одной деревеньки. Одни пепелища. И так же, как в Володимире-граде, копошились на пепелищах этих люди. Что-то ищут. Да разве огонь что оставляет? Всё сжирает до самой последней ниточки, до самой последней досочки. И всё равно не уходят люди с насиженных мест. Мечтают отстроиться, только бы уж поганые ушли, не мешали. А их полно шастает по дорогам. Потому-то и строиться боязно. Того гляди, самих-то в плен уведут. А это у татарей быстро делается. Свистнет аркан, и ты уже на своих ногах не устоишь, захлебнёшься, задохнёшься в собственном крике. Потому-то от каждого всадника и пешего прятались люди. Женщины, дети да старики боязливы стали, как дикие звери. И порой не у кого было у Иванки уточнить, правильным ли путём он идёт, не сбился ли?

Расположился он в третью ночь в какой-то безлюдной выжженной деревеньке. Крыши нигде не было. Спрятался от ветра за остов печки. Даже повезло выгresti из её чрева угольки. Видно, не так давно была сожжена деревня. Наломал он сухостоя и разжёг костерок, маленько хоть погреться. Рука-то уж зашла от холода. Так-то одет Иванка тепло. Дала ему в дорогу Харитинья и полушубок, и штаны тёплые, и шапку по глаза, и сапоги – люди поделились. Но вот ни рукавицы, ни варежки для его десницы не нашлось. А заморозить последнюю руку нельзя ему было, она ему единственная надежда и помощь. Пожевал Иванка хлеба да пареной репы, что дала в котомке с собой Харитинья, подбросил в костерок ещё сухих веток да полуобгоревших досок, найденных на пожарище. Прислонился к печным кирпичам спиной, прикрыл глаза, сунул руку в шубу и погрузился в сладкое забытьё, которое нежило, кружило, рождало в голове какие-то странные видения. То вдруг казалось, что тяжёлые от усталости ноги стали лёгкими-лёгкими, и если дунет ветер, так и понесёт его по снежному полю. То вдруг перед глазами свистели мечи, много мечей. И главное, самих воинов не видно – наши ли, враги ли, не поймёшь. Одни мечи будто бы сами по себе бьют друг о друга, аж искры летят. И вдруг всё это пропало, и перед Иванкой появилось много-много детей и среди них его рязанские сгоревшие дочки и сынок, живые, но без тёплой одежды, в одних рубашонках. Но ведь сейчас зима, холодно – занялось Иванково сердце. Он затряс головой, чтобы не видеть этот ужас. Открыл глаза. Сердце билось часто-часто. Но перед ним потрескивал костерок, и то-то тёмный свернулся калачиком около огня. Иванка приподнялся и наклонился над незнакомцем. Тот был одет не в обычные одежды, а весь затянут какими-то тряпками. Нашупав в этих тряпках голову, Иванка приоткрыл его лицо. На него глянули жалобные огромные глазищи.

– Дяденька, не прогоняй меня... – послышался тихий мальчишеский голосок. – Дай погреться.

Иванке стало не по себе, горло сдавил какой-то комок.

– Да разве ты эдак согреешься? – едва смог выдавить из себя Иванка.

Он расстегнул шубу и велел мальчишонке лезть под неё. Как доверчивый кутёнок, залез тот Иванке на грудь и обнял его руками за шею под воротником. Иванка запахнул шубу, и они вместе закутались в неё. У Иванки сладко сжалось сердце: вот так когда-то и сынок любил спать у него на груди. И тут спохватился он, что забыл предложить мальчишке поесть. Но тот уже засопел носом. Видать, тепло сразу охватило его, и он, намёрзнувшись, впервые, может быть, за последнее время заснул спокойно и отрешённо. Ну, ладно, еда никуда не убежит, подумал Иванка перед тем, как его самого дрёма затянула в свой омут. Но теперь ничего ужасного ему не снилось.

Пробудился он, когда от снега, казалось, начал подниматься вверх белёсый свет. Потихоньку развиднелось. Если бы Иванка был один, уж давно бы поднялся и отправился в путь. Время-то не ждёт. Но мальчонка как забился под шубу, так всю ночь и не поворачивался, будто боясь потерять тепло. Распарился он, разморился под шубой да на тёплой Ивановой груди. А уж как жалко будить его – ну прямо сил нет. Но на что-то надо решаться. А вдруг этому парнишечке идти некуда и притулиться не к кому? Что же делать тогда? Разве сможет Иванка бросить сироту на произвол судьбы. Ведь уже в следующую ночь застынет тот навечно среди остывшего пепелища под этим ледяным зимним небом, и на всю жизнь это будет укором на совести мужика. А может быть, парень просто заблудился и нечаянно забрёл на огонёк, и надо только помочь ему найти дом? Что ж, в таком разе придётся задержаться. Уж верно, душа Агафьи Всеволодовны не прогневается на небольшую заминку в дороге, а, наоборот, благословит Иваново решение.

Погладил Иванка мальчонку по голове и почувствовал, что тот, проснувшись, напрягается всем телом, вцепившись в него. Подождал Иванка ещё немного, чтобы тот успокоился, и спросил:

– Ну что, паря, поесть-то хочешь?

Мальчонка сразу расслабился и выдохнул, ещё не веря себе:

– Да!

– Ну и гоже, – ласково потёрся о его голову мужик. Вынул из кармана тряпицу с хлебным караваем и репу, развернул и дал еду ребёнку. Тот схватил хлеб и ещё глубже зарылся на Ивановой груди. Почувствовал, как заходили ходуном мальчишеские щёки, и вздохнул Иванка горестно-горестно. Да, сплошное горе на Руси, и всё больше его и больше, как море разливанное.

– Как тебя звать-величать-то? – спросил Иванко, когда мальчишка поел.

– Корнюха я, – послышалось из-под шубы.

– Корней, значит. Где же дом-то твой, Корнюха?

– Да вот тутотка и дом, – голос Корнюхи задрожал. – Под печкой и сидим. Тут и изба была, и мамка с тяткой, и сестрёнки, а куда всё делось – неведомо.

Закусил до крови губу Иванка, чтобы не взречь криком диким, не напугать мальчонку. Уж больно всё похоже на его судьбу. Справился он с комом в горле:

– Так, значит, я к тебе в гости пришёл. И угольки, которыми я разжёл костерок, твои.

Задрожал в беззвучном плаче на груди у Иванки Корнюха. Понял Иванка, что больше спрашивать не о чем. И так ясно, что сирота-сиротинушка встретился ему. И судьба нарочно свела их, чтобы соединить, а иначе и быть не может.

– Ну что же, Корнюха, поели-поспали, пора нам с тобой в путь, – буднично, будто бы как всегда, сказал Иванка.

Высунул мальчишка из-под шубы Ивановой мордочку и испытующе посмотрел огромными голубыми глазищами в глаза Иванки.

– Ты возьмёшь меня с собой?

– Ну не бросать же такого милягу на съедение волкам? – подмигнул Иванка. – Жалко.



Какое-то подобие улыбки тронули вытянутые в трубочку губы Корнюхи. Он вылез из-под Иванковой шубы и предстал во весь рост. А был он чуть повыше Иванкова пояса, коренастый, плечистенький. На вид лет одиннадцать-двенадцать. Но его одежда вызвала у Иванки горестный вздох. В таком одеянии далеко не уйдёшь, тем более, по морозу. И хотя обут Корнюха в кое-какие сапожонки, но одежда состояла из висящих балахонистых шобоньев. Надо было что-то придумывать. Иванка сбросил шубу, снял сермяжный зипун и, пока он тёплый, накинул на Корнюхины плечи. Быстро, пока в шубу не залез холод, оделся.

– Вдевай руки в рукава быстрее! – велел он мальчишке, и Корнюха охотно влез в мужицкий зипун, который висел у него ниже колен и даже так давал тепло.

– Пока гоже! – улыбнулся Иванка. – А там бог что-нибудь ниспошлёт.

Вот уже два дня и две ночи после того, как встретились Иванка с Корнюхой, бредут они по зимним дорогам, и по равнинам, и по лесам, больше, конечно, прячась в лес. Несколько раз лицом к лицу оказывались с погаными. Хорошо, что немногочисленны были разъезды татарские. Иванка орудовал мечом. Но Корнюха тоже не отставал. Найдя где-то по пути в лесу палку, похожую на дубинку, он бесстрашно кидался с нею на врагов, сопровождая это пронзительным визгом, от которого татарские кони шарахались, а всадники от этого не могли положить сабли в цель.

– Ты у меня прямо, как Соловей-разбойник! – одобрительно восклицал Иванка. Один из убитых татар был маленького роста и, одевшись в его одежду, Корнюха наконец-то сбросил своё тряпье.

Как будто всегда были знакомы Иванка с Корнюхой. Со стороны казалось, что идут отец и сын. Жался доверчиво мальчишка к Иванке, оттаивало его сердечко от тяжёлого горя потерь, что пережил он совсем недавно, и всё ещё не верится ему, что судьба не оставила его пропадать у пепелища отчего дома. У Иванки тоже стало светлее на душе. Этот голубоглазик взбудоражил душу и возродил желание жить. У них обоих не осталось никого близкого в этой жизни. Значит, надо держаться друг за друга.

– Дядя Иванка, а куда мы идём? – пытливо спросил Корнюха, хотя до этого не решался. – К тебе домой, да?

Иванка не знал, что и ответить:

– Пока у меня нет дома, но будет. Ведь каждый где-то живёт. Так и мы.

– Я тебе подмогну строить избу, я сильный.

– А без тебя мне и не справиться. Куда мне с одной-то рукой? – дёрнул культёй Иванка.

Они шли около берега по льду какой-то речонки. Берег поднимался, и на крутом яре Иванка заметил дома, не сгоревшие, а целёхонькие. Засыпанные до половины снегом, но из труб некоторых вились дымки. Знать, не тронутая татарами деревня.

– Ну, Корнюха, моли Бога, чтоб удалось нам нынче и поесть и поспать как следует.

Еле забрались они на крутой берег, до того устали и ослабли, и до ворот крайнего дома чуть ли не доползли. Наверно, там хозяева не легли ещё спать. Солнце только коснулось земли, облака около него покраснели, и снег окрасился. Стучать пришлось долго, пока за дверью что-то загремело, зашуршало, кто-то прислушался.

– Свои это, православные! – крикнул Иванка, чтобы не подумали, что враг у дверей. Хотя татаре бы тут же выбили дверные доски (разве это защита), а то и подожгли сразу же. Дверь приоткрылась, и высунулся старичок в накинута на плечи шубёнке. Он, нахмутив свои кустистые брови, оглядел путников и, придерживая дверь, пригласил их в избу.

Пахнуло теплом и чем-то сытным. После белоснежной улицы в избе казалось темно. Чувствовалось, что старик живёт не один. В настороженной тишине он глуховатым голосом промолвил кому-то:

– Путники это: мужик да мальчишонка.

– Здравы будьте, люди добрые! – поприветствовал невидимых людей Иванка.

– Тебе того же! – наперебой ответили несколько голосов, среди них и женские, и мужские.  
– Отколи путь держите и далёко ли? – спросил старик, когда гости в изнеможении опустились на лавку.

– Да из Владимира, – ответил Иванка. – И куда бог приведёт.

Не сразу захотел он открыть конечную точку своего пути, пооглядеться да обговориться надо.

– Чего ж в Володимире-то не жилось? – спросил снова старик.

– Порушили да пожгли стольный град поганые.

– Господи, пресвятая Богородица! – воскликнули женские голоса.

– У вас-то лихих гостей не было? – спросил Иванка.

– Пока бог миловал, – ответил старик, а женщины завздыхали. – Правда, баяли шабры, что видели у околицы чудных каких-то всадников, но мало их было, в деревню не заезжали.

– А вы про великого князя Юрия Всеволодовича не слыхали? – решился-таки спросить Иванка.

– Опять-таки шабры баяли, что на том берегу в деревнях много войска русского собралось, и какой-то набольший князь там есть, а уж кто, не ведаем.

Легко стало на душе у Иванки. Кажется, всё-таки дошёл он наконец до великого князя, теперь можно подумать и о еде.

– А не найдётся ли у вас для моего мальчонки горячих щец похлебать, сколько уж времени горячего в рот не брали.

– Ох-то, болезные мои! – захлопотала женщина. – Давайте к столу-то подвигайтесь! – и она загремела печной заслонкой. – Щи заячьи как раз есть. Дед нынче из лесу зайчишку принёс.

От мясного духа Иванка задохнулся. Глаза уже попривыкли к темноте избы, и они вместе с Корнюхой подвинулись к столу. Женщина бухнула на столешник большое блюдо, положила выщербленные деревянные ложки, и Иванка с Корнюхой, забыв обо всём, хлебали щи, густые и горячие. По всему телу разливалась истома, и горячие щи согревали всё тело, доходя до самых дальних его закоулков. От щедрости хозяйки попадались в ложку и куски мяса. Неудивительно, что через некоторое время чувство голода, которое мучило все эти дни, нудное его завывание, было потушено. И когда все щи были дохлёбаны, тело оцепенело от наслаждения. И только тут Иванка вспомнил, что даже не перекрестился перед едой, так заколдовал его мясной дух. Он повернулся в красный угол к иконам:

– Господи, прости и помилуй мя, грешного...

Оказывается, и старик заметил эту его промашку и недовольным голосом промолвил:

– Я уж подумал, а православные ли вы? Вот и мальчонка уж больно чудно одет, не понашенски.

Иванко рассказал, каким образом он нашёл Корнюху, а затем приодел. Женщина всхлинула:

– Пресвятая Богородица, спаси нас и сохрани!

Старик горько вздохнул:

– Может, и нас такая же судьба ожидает. Пожгут всё супостаты, а всех поубивают.

Эти слова вызвали у женщин ещё больший испуг – переживания уже не за чью-то горькую долю, а за собственную судьбу. Но у Иванки не было мочи утешать их, да и что проку... После щей голова затуманилась. Он прислонился к стене, а Корнюха пристроился головой на его колени, и оба утонули в сонном забытье.

Утром выспавшийся и бодрый Иванка в предвкушении конца пути собирался быстро и весело. Корнюха тоже радовался, глядя на эдакое его настроение. Хозяйка избы, морщинистая седая старуха, умилённая вчерашним рассказом, увидя утром культю Иванки и его испещрён-

ное шрамами лицо, опять вдоволь накормила их. И, глядя, как жадно они едят, всё качала головой и вздыхала. Осторожно спросила Иванку, а в глазах отражались горькие думы:

– Нешто и к нам придут вороги сюда?

Что сказать доброй хозяйке в ответ? Оттого, что он скажет правду, вряд ли ей полегчает. Предчувствовал Иванка по своему опыту, что здесь, тем более недалеко от стана князя, и развернётся самая жестокая сеча и что эти дни у его щедрых хозяев последние в их мирном быте. А выживут ли они в другой, пока неведомой им жизни, лишь один бог ведает. Но ничего этого не стал говорить Иванка. Пусть подольше продлится их неведение:

– Ну, у вас же целое войско под боком, нескоро сюда супостаты сунутся.

Тревога малость поубавилась в женских глазах, а во взгляде старика Иванка уловил благодарность. Он-то, чувствуется, человек бывалый, а самая его потаённая забота – успокоить жену, дочку и внучат, хотя бы на время.

Не очень-то скоро дошли Иванка с Корнюхой к великому князю. За рекой, на другом берегу от приютившей их на ночлег избышки, стояла не великокняжеская дружина. Но всё одно это уже был конец пути. Теперь их не преследовали ни холод, ни голод, ни дикие враги. От стана к стану, от дружины к дружине пришли они наконец-то к избе Юрия Всеволодовича.

У самого великокняжеского крыльца он увидел такое, что дыхание Иванкино перехватило. Как когда-то в деревне под Владимиром, по пути из Коломны, в дружине князя Всеволода Юрьевича, изумился он, увидев в избышке свою маленькую сестру Марфу, которая оказалась её дочкой Настёнкой. Так и сейчас. Но один раз увидев её, разве теперь спутает! Но как она оказалась здесь? Эти родные глаза, этот с самого детства знакомый изгиб губ: что маленькая Марфинька, что теперешняя Настёнка – не отличишь. Так и застыл перед ней Иванка, с места тронуться не может. Она-то, конечно, его не знает, не помнит. Ведь что такое увидеть один раз да в тёмной избе, да причём она была заспанной. И, помнится, больше тогда не отводила глаз от князя, удивлялась ему...

Девочка вопрошающе смотрела на Иванку:

– Дядечка, ты что?

– Ты Настёнка, так ли тебя величают? – всё ещё боясь ошибиться, но твёрдо веря, что ошибки нет, выдохнул Иванка.

– Да-а! – моргала недоумённо глазами девочка. – А ты-то кто будешь?

– Я братик твоей мамы Марфы.

Настёнка, распахнув широко глаза и открыв рот в полувозгласе, кинулась было к нему да приостановилась:

– Так ведь... дядя Иванка сгиб в Володимире, мне тятя от этом сказывал.

Взволнованный, не вникнув до конца в слова Настёнки об отце, он ответил, тряхнув пустым рукавом:

– Вот рука осталась в Володимире, а я, слава богу, выбрался.

Тут уж Настёнка с радостным визгом бросилась обнимать своего дядю. Успокоившись, она покосилась на Корнюху, стоявшего поодаль и смотревшего на них каким-то непонятно тревожным взглядом:

– Кто это, дядя Иванка? – спросила Настёнка.

– А это сыночек мой, новоявленный.

Иванка шагнул к Корнюхе и тоже прижал его к себе. И Настёнка всё поняла без всяких слов и объяснений. Отдышавшись и успокоившись, Иванка спросил:

– Настёна, а кого ты тут ждёшь-ожидаешь?

И тут девочка опять вернулась в свою горькую действительность, и слёзы выступили у неё на глазах:

– Так ведь князь обещал, что возвернёт моего тятеньку, да вот нет его. Каждый день хожу сюда.

Опять пришло время удивляться Иванке:

– Да разве жив Авдей?

– Жив! Жив мой тятенька, жив! – затараторила она и рассказала обо всём: как с отцом встретила, как искали они князя, и как Авдей пошёл к нему, и до сих пор его нет.

Выслушал всё Иванка, нащупал рукой княгинино письмо и, погладив Настёнку по голове, твёрдо сказал, ступив на крыльцо княжеского дома:

– Подождите меня немного, вскорости мы с Авдеем придём.

## Корнюха

Часто, очень часто видит Корнюха во сне и мамку, и тятю, и сестрёнок. Смотрят они на него и улыбаются. А он и хочет подойти к ним, да не выходит. А тятя и говорит: «Не ходи к нам, сынок, рано тебе ещё». Просыпается тогда середь ночи мальчонка, и страшно ему, что не увидит никого он больше наяву, а только во сне будет встречаться. А что сон? Налетает он внезапно и так же прерывается. Ведь совсем недавно все были живы и здоровы и вместе. Изба стояла целая, невредимая, каждый уголок которой был знаком Корнюхе с самого его детства. А запахи до сих пор ощущает он. У печки всегда пахло сладкой пареной репой и морковью, мясными щами, хлебами, у порога кожами, что выделывал отец зимою, а во дворе сеном и лошадьми Чернышом и Пегим. Дух этот хоть и резкий, но от него сердце наполнялось тихой радостью. И раньше Корнюха думал, что всегда будет так. Как солнце встаёт поутру и закатывается к ночи, так и их домик будет просыпаться с первым лучиком и засыпать с последним.

Сестрёнки зимой всегда в доме мамке помогали, а Корнюха с тятёю рыбалить ходил и силки в лесу ставить. Тятя Корнюху хвалил, потому что всё у него получалось очень ловко.

– Ты, сынок, не пропадёшь, – говорила мамка, глядя его по голове.

Корнюха отстранял голову от мамкиной ладони, считая, что он уже не маленький, чтобы его ласкать. А тятя, глядя на это, усмехался и качал головой:

– Да, уж для этого, мать, у тебя Фрося с Катёнкой есть, а Корнюха мужик большой.

Нравились мальчишке эти отцовы слова. А и впрямь он уже всё чаще стал ходить в лес с отцом. Сам мастерил силки, сам ставил их в потайных местах, и уже не раз приносил из леса то зайца, то белку.

В тот день отец приболел, и Корнюха пошёл в лес один. Он помнил, где ловушки стояли. Мать вначале не отпускала, – вдруг да заблудится – но отец посмеялся на её опаску:

– Да Корнюха лучше меня по лесу шастает. Там пронырнёт, где мне не пролезть.

Радостным уходил Корнюха в лес от такого тяткиного напутствия. И очень хотелось ему принести побольше дичи. Все силки проверил он и обнаружил в одном здорового зайца, уже замёрзшего и припорошенного снежком. Тащил он его волоком, предвкушая, как обрадуется семья, а особенно тятя, увидев, что сын не подвёл его. Но уже когда выходил из чащи лесной, почуял что-то неладное. Воздух был наполнен непонятной гарью, и со стороны деревни шла сплошная пелена дыма. «Верно, пожар», – тревожно зануло сердце. Видел Корнюха, как горят дома, особенно летом в сухую жаркую пору. Но зимой чтобы... Заспешил. Сердце колотилось.

И на привычных местах он не увидел ни одного дома. Бросил Корнюха зайцеву тушку и бегом припустился к деревне. Что за ужас! Ни одной целой избы. Чёрные печки возвышались среди догорающих останков. Но страшнее всего то, что он не слышал ни одного голоса. Ведь на пожарах всегда шум, крики, плачи, вопли... А тут тишина, даже собачьего лая нет.

Но как только стал Корнюха подходить к пожарищам ближе, он застыл от страха и ужаса... Кругом лежали убитые люди. С детства знакомые соседи. У кого из спин торчали копья, кого было вообще не узнать: разбитые головы, разрубленные пополам туловища.

Закричал Корнюха, упал прямо в снег и закрыл голову руками. На миг показалось, что снится ему всё это, и стоит только закричать, сон улетучится, а он проснётся. Но под руками

всё так же был снег, а в нос била горькая гарь. С замершим сердцем и совсем не чувствуя ног, пробрался он к тому месту, где раньше была его изба. Вместо неё те же остоны. А на протоптанной дорожке к несуществующей двери лежал полуодетый отец со стрелой в шее.

Бухнулся Корнюха перед отцовым телом, и силы покинули его.

Когда очнулся, трудно было поднять голову. Она казалась тяжёлой-тяжёлой. Но он, преодолевая эту тяжесть, встал. Вынул стрелу из отцовой шеи, перевернул его на спину. Попытался сложить ему руки на груди, но не смог: они застыли, не сгибались и не разгибались. Помолится Корнюха и начал какой-то доской рыть снег. Вырыл яму, стащил туда отца и закопал. На месте могилы воткнул доску, которой копал снег. Всё это делалось само собой, как будто по велению чьей-то силы. Он не задумывался: правильно ли он хоронит отца, таким ли чередом надо совершать это.

Ни разу в своей жизни Корнюха никого не хоронил и всегда держался подальше от похорон у соседей, потому что с раннего детства почему-то боялся мертвецов.

Пытался найти он мать и сестёр, но их нигде не было. И он даже боялся подумать, что они сгорели в доме. Не хотелось ему подходить к останкам соседских домов не оттого, что опасался мертвецов: после похорон отца исчезла эта боязнь. Не хотелось видеть ему соседей мёртвыми и почувствовать себя одиноким в этом огромном мёртвом мире, хотя одиночество уже дышало на него своим пронизывающим холодом. Одиночество и неизвестность. Никак своим детским умом он не мог понять, что же случилось в его жизни.

И бежать от всего этого некуда, и оставаться здесь страшно. Сжалась вся его душа в комочек и ждала...

Сколько прошло времени, он не знал. Когда захотелось есть, он вспомнил о зайце, которого тащил из леса. Но не нашёл ничего. То ль в другой стороне искал, то ли тушку снегом замело, то ли зверь какой утащил. Впервые встретился с живым человеком – это с Иванкой.

Когда Иванка назвал Корнюху при Настёнке сыночком, защемило мальчишечье сердце, понял Корнюха, что не бросит тот его. И сам он уже не в силах уйти от этого безрукого, страшного на лицо, но такого доброго человека.

В деревне, где стояло войско великого князя Юрия, все дома были заняты. По приказу великого князя из одного дома было выселено несколько дружинников и туда поселили Авдея с Настёнкой и Иванку с Корнюхой.

Настёнка взяла в руки всё хозяйство, и дела делались у ней споро. Вскоре после некоторого стеснения перед Корнюхой она освоилась и начала понукать и только так! И воду носил Корнюха, и печку топил, и дров притаскивал. Он был безотказным, и хотя по летам постарше Настёнки, но слушался во всём этом её. Да Настёнка и жалела паренька и лучшие куски подкладывала не отцу, не дяде, а именно Корнюхе. А когда всё начищено и водружено в чугуны, и они ухватками удвинуты в самую глубь печки, они вдвоём садились перед печным огнём, и Настёнка рассказывала Корнюхе про то, как была в плену у монголов. Рассказывала про князя Владимира и про то, как он помог ей бежать из постылого плена, а сам остался у татарей и сгиб пред градом Володимиром...

Слышал её Корнюха, немел от страха, особенно, когда Настёнка молвила о том, как татары украли её и увели перед носом у отца.

– Ты, верно, очень испугалась?

– А то! – ответила Настёнка, помешивая кочергой полыхающие угли между чугунами.

– Эх, я бы их! – чтобы не показаться трусом перед девчонкой, выкрикнул Корнюха.

– Так ты мужик! – подыграла ему Настёнка. – А чего с меня, глупой, было взять? Они меня закинули на свою лошадь, рот закрыли рукой, чтобы я тятеньку не вскричала, и таковы были.

– А ты ведаешь, как я с этими врагами управлялся, когда мы с дядей Иванкой сюда пробирались, дубиной туда-сюда?! – Корнюха показывал, как он размахивал дубиной, аж с полки полетела и загремела какая-то посудина.

– Ну, медведь! – заругалась Настёнка, но ей была по душе Корнюхина горячность. – Да если бы мне в руки хоть малость мужицкой силы, уж я бы тоже не испугалась! – возбуждённо вскочила Настёнка. – И за свою маменьку я бы им...

Оба погрустнели. Корнюха дрогнул щекой, по которой поползла слезинка:

– И я бы за своих!

Настёнка о чём-то задумалась и положила руку мальчику на плечо:

– У тебя, может, мама с сестрёнками живы.

У Корнюхи сердце аж охолонуло:

– Как так?

Настёнка кивала головой:

– Живые, живые, я чую.

– Так ведь я не нашёл их.

– Ну и что с того? Увели их в плен. Они баб и детишков любят в плен забирать.

– А где я найду их? – с надеждой в сердце взглянул он на девочку.

– Ну я же с тятенькой встрелась!

После этого разговора вселилась в сердце Корнюхи мечта, чтобы Настёнкина догадка была правдой. Поведал он об этом и дяде Иванке. Тот погладил Корнюху по голове, потрепал его русые волосы и задумчиво промолвил:

– Всё может быть на белом свете. Про многих я не мог гадать, что они живые, а не выходило по-другому.

Прижался к Иванковой руке Корнюха и прикрыл глаза: а вдруг и вправду так случится.

– Дядя Иванка, а тебя с дядей Авдеем в войско-то княжеское приняли?

– А как же! Может быть, в иное время на меня, однорукого, и не поглядели бы, а нынче каждая рука на счету. Коли можешь держать меч, то и пожалуй сюда.

– А я ведь с дубиной могу... помнишь! – Корнюха затеребил Иванкин рукав.

Тот покивал и вздохнул:

– Всем место в бою найдётся: и старым, и малым, и богатырям, и калекам. Победить надо этих монголов, а не то они жизни нам не дадут! Кто как может и будет драться.

– Мы победим! – с жаром воскликнул Корнюха. – У князя вон войско какое огромное, а ведь сколько ещё по другим деревням войсков понаставлено.

– Должны бы победить, – почему-то горько выдохнул Иванка.

Но Корнюха не воспринял эту горечь. Он с ликующим криком: «Должны победить!» выскочил в сени, накинув шубёнку и шапку, проскакал по ступенькам вниз на волю и от полноты чувств шмякнулся в сугроб. Повалился в снегу, отчего вся шубейка стала белой. Шапка слетела, и в волосы набился тоже снег, который вскоре растаял, и мокрые волосы торчали во все стороны. К Корнюхе подбежал новый его друг Тришка. Он удивлённо опросил:

– Тебя дома побили?

Но тот схватил Тришку за плечи и снова упал, но уже с ним, в сугроб:

– Тришка, мы победим!

– Ага! Победим! – подхватил приятель, и они начали барахтаться в сугробе, борясь друг с другом. Совсем недавно Корнюха в этой деревне, уже всех, почти всех знает, особо мальчишек. Как будто и давно здесь живёт. Деревня не больно-то уж и большая, но из-за того, что вокруг домов стоят воинские палатки, людей здесь во много раз больше. Самое любимое мальчишеское занятие – кружиться вокруг палаток. Воины не отгоняли их, наоборот, привечали, подкармливали. Порой грустно замирали, глядя на детей, вспоминая свои семьи. Ведь многие здесь из дальних городов, и ни у кого нет твёрдой уверенности, что вернутся они по своим

домам живые и здоровые. И по-особому относились они к Корнюхе, прослышав о его горькой сиротской судьбе. Сам он никому ничего не рассказывал. Но рассказ Иванки тут же разнёсся по многим устам. И если у кого-то из воинов порой шевелилась жалость к себе, к своему неясному будущему, то при виде Корнюхи понимали, что они здесь для святого дела. Если не разбить поганых, то дотянут те свои лапы и до их дальних городов, и не пощадят татары ни стариков, ни детей. Поэтому их мучения и ожидания не зря.

Авдей всё ещё не мог никак отойти от тяжких дней в темнице у великого князя. Впрочем, это была не темница, а небольшая горница с маленьким оконцем, с запертой дверью со сторожем за ней. Вначале князь не верил Авдею, что вся княжеская семья погибла и город Владимир сгорел. Он метался по гриднице, грозил Авдею пытками. Но Авдей не обижался на князя, потому что сам испытал столько потерь, в которые очень не хотелось верить. Только боялся, что князь в своём ослеплении в самом деле лишит его жизни как лазутчика. Но не себя жалко было ему, а Настёнку. Она ждала его там, за стенами княжеского дома, и обмануть столько пережившую за последнее время дочку он никак не мог. Когда он вступал на княжеское крыльцо, он улыбнулся ей, и она ответила ему беззаботной детской улыбкой. Он понимал, что идёт к князю с плохой вестью и что всё может быть. Но он обязан был вернуться.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.